

РУССКИЙ Крест

Александр ЛАПИН

НЕПУГАННОЕ ПОКОЛЕНИЕ



Александр Алексеевич Лапин

НЕПУГАННОЕ ПОКОЛЕНИЕ

(РУССКИЙ КРЕСТ – 2)

Часть I . ЗАПИСКИ СТАРОГО СОЛДАТА

Однажды к Богу пришел человек и взмолился:

– Господи! Ты возложил на меня слишком тяжелый крест. Не могу я его носить по жизни. Жена злая. Работа тяжелая. А я сам болен и немощен. Помоги! Освободи!

– Ну что ж, – ответил Господь. – Поставь свой крест вон там, в уголке у оградки. И поиди поищи какой-нибудь другой. Поменьше. Да возьми хоть вон тот.

Схватил человек новый крест. Обрадовался, что меньше. А крест оказался весь в колючках. Искололся человек до крови и опять взмолился:

– Господи, что ты мне дал? Еще тяжелее!

Господь ему в ответ:

– Возьми любой другой.

Стал человек примерять кресты. Тот хоть золотой, да чересчур тяжелый. Этот грязный. Третий длинный. Так и проходил целый день. Но ни один ему не подошел. И только под вечер увидел в уголке подходящий. Обрадовался. Взял его:

– Это по мне! Прямо в самый раз.

А Господь ему в ответ:

– Так это ж твой крест, который ты утром оставил!

I

Кислый летний дождь уныло поливает однообразные серые крыши казарм военного городка, проникает за шиворот молоденькому часовому, стоящему у краснозвездных зеленых ворот контрольно-пропускного пункта. Ворота изредка распахиваются на две половинки. И тогда из них либо выезжает большой, крытый колыхающимся брезентом жук-грузовик с полным кузовом курсантов, либо выползает серо-зеленой, мохнатой, ошетиленной стволами карабинов гусеницей военная колонна.

Будущие сержанты направляются в ближайшие леса на учения. Через час-другой оттуда слышны звуки стрельбы, приглушенные отчаянные крики «Ура-а-а!». К вечеру замыленные и покусанные мошкаркой колонны втягиваются обратно в ворота учебки.

Нынешнее лето здесь, на севере от Москвы, в закрытом городе ученых Дубне, получилось жарким и душным. Комары, мухи, мошка и прочая нечисть заполонила затерянный в лесах городок физиков-ядерщиков, работающих в институте с труднопроизносимым названием ОИЯИ – Объединенный институт ядерных исследований. А учебку, в которую в конце концов после быстрых весенних проводов попал Александр Дубравин, они просто заели. Так что все с облегчением вздохнули, когда по приказу свыше прилетел тарахтящий кукурузник и окурил дустом окрестности таинственного города.

Тогда в Алма-Ате Дубравин, как и положено, пришел на призывной пункт вовремя. Предъявил повестку той самой бабе с сержантскими погонями. Она отметила его в списке и сказала, что он приписан к команде номер шестнадцать. Тут же вертелся в нелепой, почти детской кепочке с козырьком белобрысый, остриженный под ноль Витька Палахов. Он все подначивал и высмеивал длинного ушастого нескладного деревенского парня со странной унылой фамилией Чемолган. Спрашивал с подковыркой:

– У тебя что, папа индеец, что ли? Фамилия – ну прямо как Чингачгук!

Сидели ждали. Разглядывали двор военкомата, по которому бегали туда-сюда офицеры, прапорщики, сержанты – «покупатели», как называли их на местном жаргоне.

Шум, гам и всегдашняя русская ругань. В общем, бестолковщина.

Наконец раздалась команда на построение. Вышел молодой усатый красивый лейтенант в голубом берете:

– В две шеренги становись! Кого назову – два шага вперед.

Началась переключка:

– Алпатов!

– Я.

– Два шага вперед!

– Бубкин!

– Я.

– Виноградов!

– (Чуть слышно) Я.

– Головка от х...

– Га-га-га!

– Чего так вяло отвечаешь? Боец должен отвечать энергично, в полный голос.

– Дудко!

– Который Дудко?

– Василий.

– Я.

– Дудко Иван!

– Здесь!

– Не здесь, а «я» надо отвечать...

Сашка Дубравин напрягся, как струна, ждал с секунды на секунду, что сейчас по списку выкликнут его. И приготовился отвечать молодцевато-зычно. Но почему-то его в списке на букву «Д» не оказалось. Вот уже откричались буквы «Е», «Ё», «Ж», «З». И так до конца алфавита. Назвали и Палахова, а в конце и Чемолгана. Всего сто человек. Он и еще трое таких же ребят остались стоять в шеренге чуть позади от остальных.

– Разойдись! – раздалась команда после построения.

Они сразу же подскочили к бравому лейтенанту, с завистью поглядывая на его десантные эмблемы с парашютиком.

– Нам сказали, что у нас тоже команда номер шестнадцать, – заметил Сашка, – но вы нас не зачитали.

– Ничего не знаю, – неопределенно махнул зажатой в руке коричневой папкой летеха. – У меня сто человек в списке. Обратитесь к военкоматовским. Может, они вас для замены в случае, если кто не явится, вызвали. Такое бывает...

Обрадованный парень, стоявший рядом с Сашкой, выдохнул:

– А может, нам того, уйти, раз нас нет в списках?

– Да ну, – возразил ему Саша. – А вдруг нас начнут искать? Давай лучше подойдем к тому военкоматовскому майору. Предупредим его. А

потом уйдем.

Так и сделали. Долго искали носатого унылого майора, который определял их в команду. Тот все носился туда-сюда по двору. Отмахивался. Но в конце концов выслушал. И приказал сидеть на лавочке дальше:

– Ждите команды!

Ждать и догонять – самое гнусное дело. Решили: мол, посидим часок, а потом слиняем.

Они уютно устроились возле забора и принялись обедать тем, что им положили дома.

На плацу строилась очередная команда. Маленький, аккуратный, ладно скроенный офицерик с двумя бывальыми сержантами собирал людей. Если в десантной роте, в которой они до этого состояли, народ был подобран рослый, видный, то здесь, как говорится, собрали с бору по сосенке. Люди самые разные. Есть даже старые мужики. Конечно, «старые» – это громко сказано. Но для восемнадцатилетних парней переростки двадцати пяти – двадцати шести лет с густой жесткой щетиной на щеках казались старыми. Некоторых провожали жены. А у одного даже, как заметил Дубравин, «телка» была на сносях.

Вдруг у них в строю начался шум, гам, треск. Кто-то «забькал». К этому месту сразу потянулись сержанты. Через минуту дружки потащили из шеренги пьяного «моремана» – призывника-курсанта речного училища, бухого вдрабадан. Отвели подальше на лавочку и посадили. Там он тупо сидел, наклонившись вниз, мотая головой из стороны в сторону, пока не свалился со скамеечки на травку.

Пока шла эта сумятица, ребята и не заметили, как рядом с ними вдруг оказался носатый военкоматовский майор, а с ним «покупатель». Тот самый маленький ладный офицерик.

– Вот вам замена! – прогундосил нервно майор. – Что вы переживаете?

Он достал из папки наугад учетную карточку и произнес:

– Александр Дубравин здесь?

– Здесь я, – ответил заинтригованный Сашка.

– Переходишь в распоряжение старшего лейтенанта, – и майор передал маленькому лейтенанту его учетную карточку. – Так, следующий кто у нас по списку? Белов.

– Я Белов, – ответил второй паренек.

Пока шел их диалог, Дубравин с интересом разглядывал офицерика. Точнее, его знаки отличия. Зеленые погоны. Черные петлицы. На петлицах трактор со скребком. Бульдозер в просторечии.

Не удержался, спросил:

– А это какие части?

– Инженерные войска, – ответил старлей.

У Дубравина так все внутри и опустилось: «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день». Вот тебе десант. Вот тебе карьера. Будет он, миляга, строить блиндажи, да рыть окопы, да еще наводить мосты. Не о такой службе он мечтал.

– Становись в строй, боец, – приказал ему старший сержант-«кусок», когда лейтенант передал ему с рук на руки нового воина взамен того алкаша, что пьяный лежал сейчас на газоне у военкомата...

На оцепленном милицией вокзале никого не было. В тишине идут по перрону к вагонам пассажирского поезда тысячи молодых парней. И в этом молчаливом шарканье ног что-то жуткое, такое жуткое, что пожилая проводница, выглянув в окошко вагона, когда они проходили мимо, даже запричитала по-бабьи:

– Миленькие мои! Да куда ж это вас гонят? Такие молоденькие. Да сколько вас много! Ой, беда, беда!

Дубравин так и не понял, какая тут беда. Отчего беда? Ну, взяли в армию, ну, идут они по перрону – ничего особенного. Эх, знал бы он.

Вот только вчера ты был свободный человек, сам принимал решения, сам отвечал за себя. И вдруг все переменялось. И уже ты не принадлежишь себе. И уже ты не вольный человек, а гонимый ветром судьбы листок, песчинка в человеческом океане. И гонит тебя неведомая сила неизвестно куда. Вот это ощущение своей ничтожности больше всего запомнилось Александру Дубравину в этой длинной поездке по стране.

Перед посадкой в вагон опытные сержанты проверили у всех вещмешки и чемоданы. Изымали водку. Кое у кого нашли и даже для виду пару бутылок разбили. Пытались устранить повальную пьянку в поезде.

Куда там! Все не перебеешь. Так что пахнувший перегаром, пьяный поезд словно шатается на рельсах. Кончилась водка – в ход пошли одеколоны, настойки, даже духи.

Трое суток качает их вагон. В нем дикая духота от распаренных тел, миазмы от засранных туалетов. На все призывы к начальству открыть окна, дать народу выйти на станции, просьбы чего-нибудь прикупить поесть следует стандартный ответ: «Солдат должен стойко переносить все тяготы и лишения военной службы». Ну вот, чтобы переносить эту скотскую атмосферу, безделье, духоту и неизвестность, народ и пьет все, что под руку попадется.

Дубравин с первой минуты как-то не вписался в коллектив. Странно, на гражданке он всегда был лидером. А здесь нет. Может быть, потому что тут были другие люди, другие интересы и задачи. Как-то само собой лидером в купе стал толстый, рыжий, какой-то бело-рыхлый парень с маленькими свинячьими глазками, обрамленными белесыми ресницами. Он был постарше их всех. Уже где-то за что-то посидел в тюрьме. И поэтому считал своим долгом их всех учить жизни. В подручные к нему на побегушки пристроился симпатичный парень-казах, выпускник алма-тинского балетного училища. Тут же рядом с Кабаном, как окрестил его Дубравин, шестерил и поддакивал робкий парнишка-гитарист. Захаживал к ним в купе «поговорить» дядя Витя – здоровенный, похожий на мясоруба лох, мужик из соседнего отсека. Разговор у них в основном вертелся вокруг того, «как это наш балерун девок в училище таскал, а никто ему не давал».

А вот Дубравин выглядел белой вороной. Он не играл в карты. Не рассказывал анекдотов. И даже не подхихикивал, когда их рассказывал Кабан. Он просто наблюдал за жизнью в новой для себя ипостаси. Ему даже хотелось бы стать таким же, как все. Но он почему-то не мог. Что-то не давало. Может, чувство собственного достоинства?

Вот и сейчас балерун раздобыл где-то флакон духов «Красная Москва». Хороший такой «фуфырик». Кабан аж радостно хрюкнул, когда увидел его. И потянулся за стаканами. Стаканов не нашли, обошлись тремя зелеными металлическими кружками. Внимательно отмерили жидкость. Добавили воды. Балерун и гитарист сразу весело звякнули жестяными боками.

Правда, гитаристу Веньке духи не пошли. Поперхнулся, закашлялся. Глотнул, оставил кружку. И кинулся на выход. Но все равно вел себя правильно, как и должен вести себя настоящий «зольдат» и «мужик». Не то что Дубравин, который не захотел проделывать над своим желудком экскременты-эксперименты. Тоже мне, чистоплюй.

– А ты че, Дуб? – глотнув из кружки, обратился к нему с укоризной Кабан. – Не пьешь? Брезгуешь, что ли?

– Просто не хочу, – нехотя ответил Александр, – да и не люблю.

– Мотрю я на тебя, – продолжил Кабан, – в карты не играешь, водку, духи не потребляешь, травку не куришь, анекдоты наши тебе не ндравятся. Про девок тоже ничего не рассказываешь. Некомпанейский ты парень. Хреново тебе в войске будет. Там таких не любят.

– А ты откуда знаешь, как мне там будет?

– Знаю, – уверенно ответил Кабан. – Что в армии, что на зоне – порядок один. Там фуфло и фраеров не любят. А ты какой-то больно гордый, независимый. Обломают тебя!

– Эй, мужики! – пронирливый худющий мальчишка Свистунов появился в проеме купейной двери. – Тут сержанты попросили на дембель собрать для них, кто сколько может. Давайте складывайтесь по пятерочке.

Дубравин молча полез в карман, где у него был значенный оранжево-коричневый четвертной. Кабан почесал репу и сказал:

– У меня нету.

– Да брось ты! – Свистунов даже обиделся. – Что, пяти рублей нету? Бреешь небось. Жилишься?

Да, как в воду тогда в поезде смотрел Кабан. Плохо приживался Дубравин в воинском коллективе. Уж больно не похож он был на других призывников. Конечно, когда их везли, сначала они все как-то потерялись. А особенно когда в части переодели в форму, пришили погоны и выдали кирзовые сапоги. И то дело. Были люди как люди. Разные, по-разному одетые. А тут вдруг разом исчезли. Все они сегодня на одно лицо. Но прошла неделька карантина, и постепенно стали снова, теперь уже на армейской почве, проявляться характеры. И характер у Дубравина оказался ой какой непростой.

Поселили их до присяги в одной казарме со «стариками». Казарма была большая, одноэтажная. В центре вход. У тумбочки стоит дневальный. Направо от входа живут старослужащие бойцы. А в левой половине поставили в два яруса кровати для карантина. И пошла жизнь бекова: нас е..., а нам некого. «Старички» утром собирались на построение, потом на плацу у них происходил развод на работы, на службу. А молодняк держали на казарменном положении. Они по идее должны были изучать уставы, оружие, пройти курс молодого бойца. Так что периодически к ним приходили офицеры. Читали лекции типа «Устав караульной службы. Его значение и основные положения...». Зубрили и присягу: «Я, гражданин Советского Союза, торжественно клянусь... Если же я нарушу эту торжественную клятву, то пусть меня постигнет суровая кара...».

В общем, все шло своим, теперь уже казарменным, порядком. Занятия. Бесконечные построения. Проверки. Вечерняя поверка. И опять все

сначала.

Но постепенно они обживались, оглядывались по сторонам. И в этой среде, которая жестко прессовала их, заставляла стремиться к единообразию, несмотря на это повседневное давление, выразившееся в самых разных формах, все равно начинали проявляться характеры.

Дубравин старался изо всех сил. Он чувствовал себя на своем месте. Надел форму – и как будто в ней родился. Ловко завертывал портянки с первого раза. Быстро освоил строевой шаг. Одно слово, чувствовалась в нем какая-то врожденная военная стать. Но для того чтобы, как говорится, «слиться с массой», ему не хватало покорности. Вроде он никогда не спорил, не увивал от работы, все делал старательно, но все равно чувствовалось, что парень он ершистый, себе на уме. И шибко умный и грамотный, что в армейской среде не приветствуется.

То дело началось с дружбы. В одном отделении с ним оказался хороший парень из интеллигентной семьи. Начитанный, умный, тонкий. Но слишком мягкий. «Старички», которые жили в соседней половине карантинной казармы, постепенно смелели. И уже после отбоя начали похаживать на половину молодняка. Через две недели жизнь молодых, готовящихся к присяге, стала делиться на две части: до отбоя – по уставу, а после – по понятиям. Как шакалы, стайей, по двое-трое, «старички» выходили на охоту. Собирать с молодых сигареты, отбирать у них деньги. Кое-кого, почувствовав слабинку, стали припахивать. Ну, например, «старичку»-дневальному лень драить полы в своей половине. Он идет поднимает парочку молодых, и они вместо него пашут. Постепенно появились изгои, которых, войдя во вкус, стали эксплуатировать все кому не лень. И неожиданно в число таких попал его новый друг. Причем среди «стариков» был один особенно мерзкий тип – тупой как валенок тракторист из какой-то глухой алтайской деревеньки, абсолютно дикий, с полным ртом золотых зубов и круглыми навывкате глазами. Вот он особенно полюбил муштровать молодняка. Ну а Виталий, так звали нового друга Дубравина, стал основной мишенью его шуточек. Уже не проходило и дня, чтобы его не вытаскивали из кровати. То он мыл полы в «стариковской» половине, то стоял у тумбочки, пока «старичок»-дневальный отдыхал. А дальше – больше. Чувствуя безответность, хамло стало заставлять его стирать свою куртку, галифе.

Александр видел, как Виталий меняется. Он стал какой-то запуганный, вздрагивал при каждом громком слове. Засыпал на занятиях. Уже получил за это от лейтенанта два наряда вне очереди. Глядя на его красные от бессонницы глаза, на дрожащие руки, Дубравин понимал, что парень

находится не в себе. Может сломаться. И как мог поддерживал его морально. Говорил, что это все временно. Пройдет присяга, и их отправят отсюда в части, а там будут другие люди и не будет этой скотины.

Им было стыдно обращаться за поддержкой к сержантам, но Александр еще во что-то верил и все-таки преодолел себя.

Сержант пообещал разобраться. И ничего не сделал.

Глухое раздражение, ненависть накапливались в душе Дубравина. И вот однажды, когда после отбоя он пошел в умывальную, увидел там такую картину. Виталий, тонкий, звонкий и прозрачный, стоял перед Мухой, который тыкал ему своей курткой и, шепелявя, приговаривал:

– Шмотри, интеллигент, шволочь, чтобы к подъему шухая была и отглаженная!

Дубравин не выдержал, выхватил у Виталия куртку, швырнул ее в рожу хамлу и, трясясь от злобы, выпалил:

– Козел! Гад! Задолбал ты парня! Сам постираешь!

– А ты заступник, што ли? Да я тебя замочу! Живым отсюда не выйдешь! Будешь на карачках ползать здесь передо мной!

– Пошел вон!

«Самое главное – не ударить первым, не сорваться», – все время думал Дубравин.

– Может, не надо, Саня! – умоляюще заговорил Виталий. – Я постираю, – обратился он к хамлу.

– Не бери! – рявкнул Александр.

– Ну, попомнишь, гад! Не шилец ты больше, – забирая куртку, Муха крутанулся на каблуках и пошел в казарму.

На следующий день после отбоя Дубравин пошел в туалет, чтобы постирать подворотничок. В умывальной было человек десять таких же, как он, молодых солдат. Стирали. Кто – портянки, кто – носки. Он перекинулся несколькими фразами с Виталием, отжал подворотничок и уже возле выхода наткнулся на Муху. Позади него стояло еще четверо «стариков».

– Ну што, молокосос, – завел речь Муха, во весь рот нагло улыбаясь золотыми зубами, – будешь выебываться?

Он думал, что Дубравин испугается, стушуеться. Но тот уже понимал, что перевес на стороне «стариков» и драки не миновать. Поэтому без долгих разговоров, с ходу, прямым заехал в рыло, ободрав руку о золотые зубы. Муха скопытился. Упал прямо на кафельный пол. Дубравин ринулся на него, схватил за горло, начал душить. И тут почувствовал, как со всех сторон его будто стали кусать злые осы. Это «старики» принялись

колотить его сверху по голове, плечам и спине. Он оторвался от Мухи и ринулся на окруживших его. Бил в эти ненавистные рожи, пинал их ногами. Но стоило направить ему свои удары на одного, как он чувствовал, что справа, слева налетали другие. Муха тоже вскочил и бросился на него.

Со стороны это было похоже на травлю быка. Когда несколько тореадоров по очереди втыкают в него бандерильи и пики, а он не успевает отбиваться. Пока он разворачивался под ударами против поднявшегося Мухи, тот успел несколько раз заехать ему справа в скулу под глазом так, что у Дубравина искры посыпались. Только он врезал Мухе сапогом, целясь между ног, как получил сзади сильнейший удар по голове чем-то металлическим, видимо бляхой. Все поплыло перед глазами. Но он не упал, а как-то неловко осел, опустился на одно колено. В голове была только одна мысль: «Не свалиться, не свалиться! Встать!».

Вдруг вся толпа, которая уже собралась вокруг места драки, начала рассыпаться, растворяться. И он услышал в коридоре голос старшины Карненко:

– Що тут происходит? А ну разойдись!

Все исчезли.

Он медленно, с трудом поднялся с колена и пошел к умывальнику.

Карненко зашел в умывальную, подошел к нему, поглядел внимательно сбоку, как он медленно набирает в ладони воду и прикладывает ее к опухающей под глазом щеке. Спросил:

– Що случилось, а?

– Да ничего, – пробормотал Дубравин. – Голова закружилась, товарищ старшина, упал, ударился.

Конечно, Карненко все понял. Покачал головой и сказал:

– Ну-ну, смотри, – и ушел.

Дубравину было обидно, что никто из молодых, а их в умывальнике в тот момент было намного больше, чем «стариков», не вступился. «Труссы! Рабы! И чего я за них влез? Они хуже этих «стариков». Хуже этого уroda Мухи. Поэтому и достойны, чтобы их били и унижали».

В опустевшую умывальную пришел Муха. Настроен он был примирительно-нагло.

– Ну што, – заговорил он, – полушил? На «старика» попер! Ты мне шмотри, что сделал, – он приспустил штанину и показал синие полоски на бедрах. Это Дубравин нанес ему несколько ударов носком сапога. – И пуговицы оторвал на кителе. Где-то они здесь. Давай ищи их! Они где-то здесь!

– Чего? – Дубравин завелся с пол-оборота. Встал в стойку, показывая,

что он не сломлен и готов снова драться.

Поняв, что строптивый салага настроен решительно, Муха принялся сам искать свои пуговицы. А Дубравин, чувствуя, как напухает левая щека, становится на ощупь как резиновая, приложил мокрое полотенце и пошел к себе на кровать.

Виталий не спал. Ждал его. Постарался поговорить, утешить. Но его запоздалые слова поддержки вызвали у Шурки только вздох: «Каждый сам по себе. Сам за себя. Вот «старика» поэтому и наглеют. Знают, что на их стороне страх».

Утром он заглянул в умывальной в зеркало и увидел, что левая половина щеки вся вздулась, а под глазом налился огромный фиолетовый фонарь.

Через два дня опухоль стала спадать, синяк пожелтел и стал постепенно рассасываться. А вот боль на душе не проходила. В конце концов он пришел к такому выводу: «Это сейчас мы еще в карантине, и они побаиваются. То ли еще будет, когда нас распределят в роты? Я, конечно, пахать на них не буду. И тогда либо они меня забьют, либо я кого-нибудь из них убью. Да, не такой я себе представлял нашу армию. И какой выход?».

Но видимо, тот, кто вел его по этой жизни, придумал для него другой выход. Через несколько дней начальство перед строем объявило, что начинается набор в сержантскую школу в подмосковный город Дубну.

«Пойду туда! – решил Дубравин. – Полгода проучусь. А там стану сержантом, и никто не посмеет назвать меня салагой или черпаком. Да и, может, сюда не надо будет возвращаться».

Так он оказался на пути военной карьеры здесь, в городе, вернее, за городом ядерщиков и физиков.

II

Вариться в коллективном котле – дело сложное. А уж тем более архитрудно управлять процессом этой варки человеческого материала.

Здесь, в сержантской школе на окраине наукограда, осваивал ефрейтор Дубравин первые навыки управления людьми. Тем более что в армии все без церемоний. Посмотрели отцы-командиры на вновь прибывшее пополнение. Проверили по описи, есть ли у будущих сержантов положенное количество портянок, подворотничков, у всех ли новые сапоги (деды и дембеля могли отнять и заменить на дырявые, изношенные). Все или почти все оказалось на месте.

Построили новый набор. Капитан Калмыков, командир учебной роты, широкий, как шкаф, рябой, молодцеватый, прошелся пару раз вдоль строя. И ткнул пальцем в каждого десятого. То есть назначил их командирами отделений. В числе «счастливчиков» оказался и Дубравин. Тут же, не отходя от кассы, им всем присвоили звание ефрейтора, что значит «отличный солдат». И нашили лычки, или – по-другому – «сопли», на погоны, чтобы они хоть чем-то отличались от других курсантов. И вот хочешь не хочешь, а уже отвечай, командир, за своих разгильдяев. А тут не до шуток.

В шесть – подъем. Подъем, как и отбой, дело тонкое. Начинается с того, что приходит в роту офицер. Дежурный ему докладывает, что да как: «Товарищ лейтенант, за время моего дежурства происшествий не случилось. Дежурный по роте курсант Петров!». Если время подошло, то дневальный орет: «Рота, подъем! Форма одежды номер один!».

И народ, словно горох из мешка, сыпется с кроватей вниз в проходы. Стук, треск. За сорок пять секунд надо успеть намотать портянки (тоже наука), надеть штаны, куртку, сапоги, застегнуться и выскочить на улицу. Поначалу уложиться не удавалось никому. А это значит, будут тренировать. То есть всем придется снова раздеться. Сложить на табуретке свое армейское барахлишко. Все расставить. И обратно в койку. Залез, накрылся одеялом. Ждешь. Дневальный опять орет:

– Рота, подъем!

И опять горох посыпался. Кто-то кому-то свалился на спину. Кто-то перепутал сапоги. Не уложились. Снова тренироваться. И так раз пять за утро. Под конец тренировки самые хитрые лезут в кровать одетыми. А сержант опыт ставит. Спичку зажжет и говорит:

– Она горит сорок пять секунд. Успеете – свобода. А нет – у меня целый коробок.

Но обычно к седьмому разу все успевают. В конце концов и этому научишься.

Но настоящие командирские учения у Дубравина начинаются после этого. Потому что ему надо каждое утро со своим отделением убирать плац. А территория поделена так, что его отделению достался самый гнусный кусок. Там, где растут деревья. А соответственно, там, где растут деревья, падают и листья. И стоит только убрать их, как начинают падать новые. Тут-то и выяснилось, что он, ефрейтор Александр Дубравин, никакой не командир. Не умеет он командовать людьми. Он неформальный лидер. То есть он, когда жил в своем Жемчужном, мог собрать ребят, повести их в поход, вдохновить какой-то идеей. В армии нужно другое. И популярно объяснил ему это Кабан. Он тоже не захотел ишачить на дядю и подался сюда учиться «на начальника». Но командиром его не назначили. И он принялся отлынивать от работы. Дубравин выводит всех на уборку территории. Сам впереди «на лихом коне» с метлой в руках бьется с опавшей листвой, а Кабан куда-то линяет, досрочно. В другой раз Кабан просто не вышел на работы. Дубравин кинулся его искать и нашел в умывальнике, где Кабан уже моется и чистится. Происходит неприятный разговор. Дубравин спрашивает его, почему он не вышел, а Кабан что-то мычит в ответ невразумительное о том, что болен: горло, мол, болит. В такой-то ситуации его надо было прижать, да попрочнее, а может, и в морду дать. А Дубравин, движимый чувством гуманизма и сочувствия, не делает этого. Чем допускает большую ошибку. Ибо скотов и учить надо по-скотски.

«Не мечите бисер перед свиньями», – сказано в Писании. А он стал метать. И тем самым утратил личный авторитет. В результате в отделении началось сначала тихое, в виде саботажа, а потом и настоящее противостояние. У Кабана появились последователи, которые, глядя на него, стали тоже уваливать от работы, хамить и говорить о том, что «лучше бы Кабан стал командиром».

Дом раздвоенный не может выстоять в бурю. Так случилось и с дубравинским отделением. Как-то раз, так и не уложившись в срок с уборкой, они ушли на развод. В это же время, пока в роте никого не было, в нее нагрянул «дикий майор». Был в части такой любитель воинского порядка, которого все боялись как огня. Когда «дикий майор», дежуривший по части, увидел, что на участке территории роты осталась кучка неубранного мусора, то пришел в ярость, затопал ногами, запрыгал в

своих сапожищах, как обезьяна на месте, и заорал, словно его прижгли сзади каленым железом:

– Куценко! Сгною! Последним поездом уедете отсюда на дембель!

А надо сказать, что на самом деле за порядок по уставу должен отвечать не курсант – командир отделения, лицо номинальное, а старшина. Но старшина – маленький гаденыш с Западной Украины – давно собрался на дембель и свалил все на сержантов. Ну а те тоже забили на работы большой и толстый. Так что Куценко в это время спал ангельским сном у себя в каптерке. Услышав дикие вопли и проклятия, он, словно гонимый ветром листок, мигом слетел с кровати. И через секунду белокрысы коротышка, красный как рак, стоял перед майором. А тот, брызгая слюной, минут пятнадцать как бешеный орал и дергался на плацу:

– Распустились! Я, блядь, вам покажу, как поддерживать порядок на вверенной территории! Вы у меня на всю жизнь запомните майора Васильца...

Короче, этот наезд кончился тем, что в один прекрасный день старший сержант Куценко сделал так, что лычка на его погоне была разделена на три части. То есть из старших сержантов его разжаловали в сержанты. А кто виноват?

И Куценко стал искать виноватых в своем унижении. Ну а так как кучка листьев осталась на вверенной отделению Дубравина территории, то гнев старшины обратился против него. Куценко стал раз за разом назначать его дежурным по роте.

Вообще, дежурили все командиры отделений по очереди. И дежурство это было весьма тягостной обязанностью. Дежурный по роте должен был пересчитать оружие в оружейной комнате, принять его под охрану, выдавать на учения. Принимать обратно. Следить, чтобы оно было вычищено, смазано.

Он же с нарядом наводил чистоту в казарме. А как удержать ее, если сто человек приходит с занятий в кирзаче? Натопчут, натопчут и уйдут. А ты следи. Наряд заливает сотни метров казарменного пола водой. Затем два бойца берутся за длинную металлическую ручку огромной швабры. Третий боец садится на нее верхом, чтобы прижать прорезиненную швабру к полу. И поскакали собирать, сгонять в угол грязную воду. И так раз пять в день. Старшина называл это действие «вести интенсивную половую жизнь».

Это днем. А ночью дежурный должен бдительно следить, чтобы никто не сбежал в самоход. Чтобы дневальные вовремя менялись в казарме, не сидели на тумбочке. И вообще не уходили с поста. Потому что опять же может нагрянуть дежурный. Тогда все сначала.

Да еще надо с нарядом в столовой обед получать. Да расставлять по столам посуду и бачки с борщом и кашей. В общем, вертится сутки дежурный как белка в колесе. За это ему ничего не полагается. Отдежурил – и на занятия, как все. Оклемаешься за пару недель.

Но оклемаются Александру Дубравину не давали. Он отдыхал один день, а через сутки его снова ставили на дежурство.

Дубравин не роптал. Он чувствовал себя виноватым за то, что старшину понизили в звании. А маленькому, злобному, мстительному гаденышу страшно нравилось показывать свою власть.

Вообще, армия – идеальное место для ущербных людей. Где еще молодой сопляк с амбициями может получить абсолютную власть над такими же, как он сам, а зачастую и лучшими, чем он, ребятами?

Собираясь в курилке в перерывах между занятиями, курсанты часто обсуждали эти вопросы. С особенным интересом беседовал Дубравин с одним таким же, как он сам, командиром отделения Анатолием Поляковым. Он был старше всех пацанов в роте. Ему уже стукнуло двадцать пять. И житейского опыта у него было побольше.

– Почему ты стараешься изо всех сил, а дело у тебя не идет? – спрашивал он Дубравина. – Да потому что не организовано у тебя все, как надо. Все ты хочешь делать по уставу. А так не получается. Во-первых, нужно, чтобы у тебя в отделении была опора. Вот посмотри, как у меня все построено. Мой главный помощник по хозяйственной части – вот он, – Поляков показал на толстого, рыхлого хохла, похожего на солдата Швейка, который занимался в это время вениками. – У него все схвачено. Он веники готовит к уборке. Они у него свои. Сложены в отдельном закуте. А у тебя кто отвечает за заготовку веников? Никто! Вы берете, что останется в роте. А в роте тоже не дураки. Растаскивают утром еще до подъема. Ну, соответственно, я его от всех других работ освободил. Если кого надо в наряд, то он никогда не идет. Только уборка территории. Специализация. И поддержка. Всем мил не будешь. Своим надо давать послабления... А у тебя что? У тебя внутренний раздрай. Оппозиция образовалась. А ты фактически один. Без поддержки. Вот ничего и не получается. Костяк надо иметь. Опору среди людей.

Из этих разговоров в курилке Александр Дубравин многое понял. Понял и главное – власть над людьми не дается. Она берется. Даже в их микроскопическом коллективе. Но тот момент, когда надо было ее взять, и взять твердо, уже был упущен. И теперь ефрейтор Дубравин вынужден вести бой за эту самую власть с Кабаном. Изнурительная работа. Если еще учесть, что сам он попал под пресс старшины.

Когда прошло две недели такой жизни – «через день на ремень», он стал ощущать какую-то смертельную тоску и усталость. В голову стали приходить разные мысли: «Вот выйду на дембель. Буду идти по улице, встречу старшину. И избью его, как собаку, до полусмерти». Или того лучше: «А не взять ли мне во время очередного дежурства автомат? Заныкать патроны. А ночью пойти в каптерку, приставить к башке Куценко ствол и заставить его, суку, ползать на четвереньках. А потом застрелить на х... И делу конец». И по мере того как таяли силы, росли усталость и раздражение, Дубравин находился все ближе и ближе к этому решению. Он понимал, что это конец всему: карьере, надеждам, будущему. Но уже чувствовал, как неодолимая рука рока вела его по этой дороге.

Он уже заныкал три патрона и постоянно носил их в кармане, ожидая случая.

Но Бог не допустил, свинья не съела. Какая-то сила вмешалась в ход событий. Командир роты капитан Калмыков на третьей неделе заметил, что дежурным снова заступает ефрейтор Дубравин.

– Это почему снова ты? – спросил он его на разводе.

– Не знаю, – ответил Александр. – Так старшина ставит постоянно, – при этом голос его дрогнул, а к глазам, давно уже красным от недосыпания, подступили слезы.

– Понял, – ответил Калмыков. – Иди служи. Эй, дневальный! Позови-ка ко мне старшину.

Через пятнадцать минут «отодранный» старшина вылетел из кабинета командира роты. Больше Дубравина дежурить вне очереди не ставили. Гроза миновала.

Он потихоньку расстрелял патроны на стрельбище.

III

Запертые в казармах, молодые, в самом соку люди, лишённые какого-либо женского общества, предоставленные сами себе, естественно, находились в сильнейшем сексуальном напряжении. И это напряжение, а также общая скученность, отсутствие какой-то высокой цели давали о себе знать частыми вспышками раздражения, ненависти и насилия. Если в линейных частях, где были увольнения, а во многих еще и самоходы, проблема сексуальной неудовлетворенности как-то еще снималась, то здесь, в сержантской школе, где они были заперты наглухо, все обострилось до крайности.

Среди курсантов ходили разговоры о том, что в обед им подливают какие-то химические вещества, «то ли бор, то ли хлор», которые снижают желание и половую потенцию. Но так ли это было на самом деле, никто не знал. Судя по тому, как по ночам скрипели пружины на вторых этажах коек, «хлор и бор» помогали плохо. Дубравин мучился, как и все. Несмотря на постоянную занятость, на спорт, все равно мысли о женщинах терзали его целыми днями. А уж по ночам был полный простор для солдатского воображения. Сексуальные фантазии для него, если честно сказать, были еще и способом оторваться от действительности, настолько будничной и однообразной, что можно было сойти с ума. Здесь – серые солдатские будни, тупой, однообразный распорядок дня. А там – в свободном плавании сознания – красота и жизнь.

Так что вечером, укладываясь на жесткий солдатский тюфяк в свой «конверт» под байковым одеялом, он решал: «Сочиню-ка я историю о городе Лондоне. Пусть там будет школа секса. А я, например, буду молодым миллионером, который приехал туда на обучение». «И вот уже все плывет и пенится. Самолет преодолевает облачный покров и стремительно снижается на бетонную полосу аэропорта «Хитроу», четко касается ее колесами, и красавица стюардесса с улыбкой сообщает, что они уже на британской земле.

Молодой, семнадцатилетний, миллионер выходит на трап, где его уже встречают молчаливый водитель и стройная фигуристая женщина лет тридцати пяти – сорока. Они подходят к нему, и она протягивает руку:

– Миссис Грей, директор вашей школы.

– Александр Дубравин, – церемонно отвечает он, передавая водителю свой небольшой чемоданчик.

– Ваш отец, мистер Дуброффин, – говорит англичанка, – поручил нам ваше сексуальное обучение. Впереди у вас большая жизнь, карьера. И он хотел бы, чтобы вы могли наслаждаться этой жизнью, как он сам говорит, по полной программе, получая высшее наслаждение от общения с женщинами разных типов и народов».

Дубравин оторвался на секунду от сочинения своего сексуального романа. За окном спал военный городок, мирно светили звезды. Свистели в садочке рядом птицы. Тоска зеленая. И мрак. Он опять погрузился в мир фантазий.

«Замелькали за окном машины, дальние пригороды Лондона. Маленькие чистенькие домики на зеленых лужайках. Они быстро проносятся мимо них по дороге, обсаженной деревьями, тихо покачиваясь на задних кожаных сиденьях мощного «Роллс-Ройса». Но вот впереди

показывается красивая черепичная крыша старинного особняка.

– Наша школа, – произносит миссис Грей.

Машина останавливается у белой высокой лестницы.

– Сейчас мы разместим вас, а потом за завтраком я познакомлю вас с персоналом.

Горничная в белом переднике и бантах проводит мистера «Дуброффин» в его апартаменты, состоящие из четырех шикарно обставленных комнат. Сашка принимает душ и выходит на балкон. Зеленые поля и лужайки простираются перед дворцом. Он вглядывается вперед и видит шикарную аллею каштанов, цветущую дурманом сирень и чистые песчаные дорожки, ведущие далеко-далеко.

Вскоре за ним приходит миссис Грей. Она присаживается на диванчик. Через минуту горничная приносит им завтрак на серебряном подносе. Здесь французские булочки, масло, чай, кофе, тающие во рту круассаны, яичница из трех яиц. Миссис Грей, отпивая маленькими глоточками черный кофе, рассказывает программу:

– Наша задача – научить вас наслаждаться любовью неограниченно долго в любом месте и в любое время. Уметь доставить наслаждение себе множеством способов. Вам будут помогать осваивать его наши девушки.

Она хлопает в ладоши. Дверь столовой приоткрывается, и в комнату входит шикарная красавица в русском наряде. На голове кокошник. В руках букет из ромашек и васильков. Она приседает, приветствуя. Представляется: «Таня!» – и выходит.

Следом появляется другая девушка, в короткой мини-юбочке и беленьких гольфиках. Она выглядит совсем юной. Просто девочкой-десятиклассницей.

– Это наша гордость – Мэри, – произносит миссис Грей. – Ее мастерство не знает себе равных. Подойди сюда, Мэри. Присядь с нами. Я думаю, тебе нужно сегодня снять напряжение у господина Александра.

– Да, мадам, я постараюсь, – опустив глазки вниз и лукаво глянув на него, отвечает Мэри.

– Ну, пойді подготовься! – сказала миссис Грей.

Только за Мэри закрылась дверь, как в комнату влетела тоненькая, длинная и грациозная негрятючка и остановилась на пороге.

– Вы меня звали? – по-английски с акцентом спросила она.

– Это Сьюзен, наша красавица. Она из Южно-Африканской Республики. Горячая, страстная, как героиня африканского эпоса...

Дубравин чувствовал огромное возбуждение. Но ему хотелось продлить это сладкое, мучительное напряжение.

– Сьюзен мастерски работает язычком. В ее племени женщины умеют возбуждать мужчин самыми разнообразными способами. Ее конек – работа ресницами, она вам покажет, как это делается. Я покину вас на некоторое время, – сказала миссис Грей и выскользнула за дверь.

Некоторое время за дверью слышался шорох. Через секунду в комнату вплыла Мэри в белом пеньюаре, показывающем все и вся. Ничего прекраснее Дубравин в своей жизни не видел. Она неторопливо присела к нему на колени. Ловко расстегнула брюки, достала член. И легко, мягко села на него. Дубравин чувствовал по мере того, как она качала, как возбуждение росло все сильнее и сильнее. Она приподнялась, просунула руку и ласково и нежно коснулась его яичек...».

Тело Дубравина содрогнулось. Он кончил. «Следующая серия будет завтра, – подумал ефрейтор, засыпая. – Завтра я попробую всех остальных. А последней будет сама директриса. Она примет экзамен». И он заснул, забыв в этих грезах и о Галинке, и о Людке Крыловой.

То, что никогда не способны дать настоящие, живые женщины, мужчина всегда может обрести в своих фантазиях.

IV

Выстроилась модель жизни. Но жизни особенной (не естественной, а как-то по-особому извращенной), спрессованной жестким распорядком, расписанной на кубики-дни. Все вроде бы как на гражданке.

Вот спорт, который сам по себе везде одинаков. Культивировался он и в армии. Но только почему-то один вид – бег.

Утро. Вскочили и побежали. Ежедневно на спортивных занятиях тоже бегали. То полосу препятствий преодолевали, то какую-нибудь дистанцию. Сдавали зачет. Ну а по воскресеньям, естественно, в качестве отдыха в распорядке дня им предлагался марш-бросок или кросс километров этак на шесть. Да что по воскресеньям! По субботам они ходили в город в баню, так как своей в части не было. Процесс, конечно, смешной. На всю помывку, а велась она повзводно, отводилось полчаса. Затем должна была заходить следующая партия. Сержант Винник строил их, и они, освеженные, после баньки шли назад в городок. Начинались шуточки, прибауточки, разговорчики в строю. Пресекались они обычно очень простым способом. Сержант Винник подавал команду:

– Бегом марш!

И взвод в клубах пыли мерно начинал забег.

Минут через десять переходили на шаг. И таким вот образом они быстро преодолевали два километра цивилизации и соблазнов.

«А увольнение? Увольнения как же?» – спросит осведомленный в военной службе читатель. Бывали и увольнения. Но процесс их подготовки был таким, что можно было подумать, будто ребята шли не в город за забор, а отправлялись в неведомую страну или космическое путешествие. Да и не любили отцы-командиры отпускать курсантов, будущих младших командиров, в увольнения. Боялись. Ведь Дубна – это город высокой культуры, где проживает научная элита.

Это вообще был уникальный город, резко отличавшийся от других городов Советского Союза. Среди болот, на берегу Беломорканала, в подмосковном лесу в середине пятидесятых как грибы после дождя стали расти дома. В стране, где после войны девяносто процентов горожан жили в коммуналках по пять человек в комнате, вдруг вырос отдельный коттеджный поселок для научной элиты не только своей страны, но и стран-сателлитов. Здесь в Объединенном институте ядерных исследований (сокращенно ОИЯИ) работали мировые знаменитости, сюда приезжали делегации, здесь люди занимались управляемой ядерной реакцией.

Ну, соответственно, и быт их был налажен на мировом уровне. Курсанты часто, шагая на полевые учения, видели, как по каналу гоняли на водных лыжах за быстроходными скутерами ученые люди. С завистью следили за их пируэтами, прыжками. Наблюдали в бинокли из леса нарядную толпу на берегу, слышали музыку. Более того, летом самолеты посыпали окрестные леса, а заодно и вояк наших, какими-то химикатами. Это чтобы ученых людей не беспокоили комары. То комары! А вы представьте себе, что на улицы этого уютного, тихого, небольшого научного города выпускают в увольнение, к примеру, тысячу молодых пацанов, одетых в хлопчатобумажную военную форму. Ведь солдату в увольнении что надо? Выпить втихаря, найти девчонку, подраться с кем-нибудь из местных.

Поэтому выпускали их очень редко. И помалу. Чтоб пейзаж и воздух кирзой не портили. А тех, кого выпускали, уж так мотали, так мотали, что и не рады они были. Выдавали парадную форму. Затем эту форму гладили, утюжили. Потом увольняемого инструктировал старшина. Угрожал. Вел к командиру роты. Тот тоже пудрил мозги: смотри, мол, если что – посажу на «губу», и будешь там сидеть до «мартышкиного заговенья». Затем всех увольняемых собирали вместе. И мораль читал уже дежурный по части. Естественно, в том же стиле: «Посажу! Разорю! Негодяи, подонки! В прошлый раз отличились. Если кто опоздает из увольнения, тому не видеть

больше белого света. Сгниет на полах! Я вам покажу половую жизнь!».

После этого им выдавали отпускные бумажки. И выпускали за ворота часов так на семь-восемь. Гуляй, рванина, в культурном месте.

Но что мог солдат в чужом городе и при ограниченных материальных и временных ресурсах? Побродить по улицам, поудивляться чужому, нерусскому быту наукограда. Купить мороженого в киоске да сходить на дневной сеанс в кино – и обратно в свою нору, в койку.

Местное население на таких пришельцев тоже поглядывало косо. Город был закрытый. Пускали только по пропускам. Они чувствовали себя элитой, кастой. А тут какие-то солдаты непонятные бродят. Ах, как бы чего не вышло!

Все на свете когда-нибудь кончается. Сержантская школа заканчивалась экзаменами, которые можно было условно назвать выпускными. Принимали их так. Преподаватели – по специальности: как соорудить дот, дзот, блиндаж, устроить мост, наладить переправу. Строевые офицеры – огневую, строевую подготовку, уставы, порядок службы.

Естественно, все роты хотели занять первое место в полку. И топили «чужих». А так как на промежуточных экзаменах десятая рота заняла первое место, то ей доставалось больше всех.

Господи, до чего человек может быть увлечен всякой ерундой. Одной лычкой больше, одной меньше. Что это значит по-настоящему в жизни? Ровным счетом ничего. Однако люди рвали попу.

Дубравин тоже старался изо всех сил. Он хотел остаться здесь, в учебке, замкомвзвода. А для этого надо было получить все пятерки. Сдавший на «отлично» получит звание сержанта и право выбирать место службы самостоятельно. Остальные станут младшими сержантами и поедут по своим частям.

Сегодня строевая. Принимает ее майор Петухов. Красавец мужчина, говорят, попавший сюда за какие-то грехи из кремлевского полка. Ну и, соответственно, большой знаток и любитель шагистики и всяких штучек, проделываемых с карабином. Он никому никогда из принципа не ставит пятерок. Но Дубравин – сильный, красивый, рослый парень – не боится. Строевая ему нравится. Он быстро и четко усвоил упражнения с оружием и без оружия. И уверен в том, что сейчас не ударит лицом в грязь.

Экзамен начался с построения у казармы. Раздается команда:

– В две шеренги становись!

И видно, что шесть месяцев не прошли зря. Двадцать секунд – и из рассыпанной по плацу массы образуются плотные квадраты взводов. Каждый знает свое место, свой маневр.

– Шагом марш!

И эта слитная живая масса одним шагом начинает движение к плацу. Быть в строю – незабываемое ощущение. Каждый словно становится частицей общего. И словно уже не люди с разными характерами и мыслями, а мощная, четкая машина, единое целое издает этот равномерный четкий звук. Нет ни разброда, ни шатания, ни топота отдельных ног. Слышно только: чок-чок-чок. Печатают асфальт кирзовые сапоги.

Отстроились на плацу. И пошел экзамен по строевой. Подойти к начальнику. Отойти от начальника. Подать команду. Упражнения без оружия. Потом с оружием.

И уже через двадцать минут стало ясно, что у Петухова не побалуешь. И пролетает их рота как фанера над Парижем. Петухов режет всех без ножа. Так, что из двадцати отличников учебы к концу экзамена не остается никого.

Вот подходит очередь сдавать еще у одного отличника. Дубравина.

Голос у него мощный, сильный, но главное даже не это. Важно, чтобы, отдавая приказ, командир как бы передавал свою волю. Настрой. Уверенность. Можно и негромко, но так рыкнуть, что люди сразу поймут, что к чему, и повинуются.

Дубравин так и сделал:

– Взвод, равняйся! Смирно! Равнение налево!

И пошел на доклад. Да как пошел! Петухов аж улыбнулся в свои гусарские усы:

– Ну ты даешь, курсант! – и остановил его. А потом, обращаясь к взводу: – Вот так надо командовать! Молодец, курсант! Ставлю пять...

Это была единственная пятерка по строевой в их взводе.

Капитан Калмыков, расстроенный таким поворотом событий, ходил хмурый и злой.

Но Дубравин был доволен. Он сдал на все пятерки и теперь имел полное право выбрать себе место службы.

Но не тут-то было.

Последний экзамен был по боевой подготовке. Штатным оружием у них были автоматы, пулеметы Дегтярева. Так что когда они по всем

правилам инженерного искусства быстро окопались, отстрелялись и вернулись в казарму, то нашли уже вывешенные результаты экзаменов. Дубравин глядел на вывешенный листок и не верил своим глазам. У него, единственного круглого отличника во взводе, стояла четверка по строевой.

Это был удар под дых. А когда он обнаружил, что у Кабана стоят все пятерки, он, конечно, сразу кинулся к Калмыкову.

– Товарищ капитан! Как же так? У меня же были все пятерки! А теперь в ведомостях я что вижу?

Калмыков, который еще имел совесть, смутился. И заметил:

– Да, нехорошо получилось с тобою. Я разберусь.

Но день пролетел мимо. Они уже начали потихоньку собираться в дорогу. А потерянный Дубравин ничего не мог понять. Еще больше он расстроился, когда вечером на поверке зачитали, кого и куда распределили. Ну, его, естественно, отправили обратно в Новосибирск. Но Кабан! Кабан?! Оказалось, что он получил сержанта и остается замкомвзвода здесь, в Дубне. Его пятерку отдали Кабану. Кто-то договорился с Петуховым. Может быть, и сам Калмыков.

Тут он понял еще одну простую истину. Умные и порядочные никому здесь не нужны. Наглые, нахрапистые, те, которые будут орать и держать людей за горло, – вот кто нужен армии.

«Голубой вагон летит, качается, скорый поезд набирает ход», – напевая под мотив этой песни, ехали в купе на четверых «чебурашки ушастые» – сержанты обратно в свою Сибирь.

Александр Дубравин молча глядел в окно, где уже привычно мелькали столбы, проносились деревни и деревья. По мере движения с запада на восток менялась природа, менялись люди.

«Господи! Какая огромная, неухоженная страна, – думал он, разглядывая бесконечные перелески, поселки. – Странная у нас история. Вроде своей земли завались, а нас все тянет и тянет в чужую. Хотя, наверное, когда заходит разговор о наших амбициях, о том, что Советский Союз хочет завоевать весь мир, надо показывать таким крикунам вот эти бескрайние поля и леса. И тогда, увидев это, они поймут, что нашему народу, по большому счету, больше земли и не нужно. Эту бы обустроить, обиходить».

V

Картина Репина «Не ждали» вспомнилась младшему сержанту Дубравину в тот момент, когда они оказались в штабе родной части. Старшина-«кусок», который ранним осенним утром привел их сюда, в низкое, казарменного типа здание с небольшой черной блестящей вывеской у входа «В/ч 42641», доложил дежурному о прибытии и отпустил команду покурить. Ушастые сержанты-«чебурашки» разбрелись по пустынным коридорам. Дубравин с сержантом Ашиным, маленьким, пухлым, но с очень красивым беленьким личиком рязанским пареньком, вышел на площадку возле штаба, украшенную зелеными плакатами с бравыми донельзя солдатами и сержантами. Плакаты показывали неучам образцы военного этикета: как отдавать честь на ходу, как приветствовать подходящего, уходящего или стоящего воинского начальника.

Они присели на зеленой скамейке, поставили рядом рюкзаки и молча наблюдали за происходящим на асфальтированной площадке для разводов караула.

Настроение у Александра Дубравина было поганое. Сейчас он стоял перед перспективой попасть на должность командира отделения в инженерных войсках либо, самое лучшее, замкомвзвода в стоящем в этом же гарнизоне строительном батальоне. Об этом им уже поведал дежурный по части – здоровенный обалдуй лейтенант Перфильев: «Лучших отберут в наш полк, а остальных, на кого вакансий не хватит, передадут в стройбат».

В военные строители попадал самый захудалый контингент призывников: бывшие заключенные, недоучки, с проблемами по здоровью. Они работали на стройках и имели с этого какие-то копейки. Инженерные войска занимались практически тем же самым, но бесплатно. Как говорится, в одной руке лопата, в другой – автомат, так что перспектива, рисовавшаяся перед сержантами, выражалась в простой народной формуле: «Два солдата из стройбата заменяют экскаватор».

«Ну и на хрена мне это надо? – сидя на скамеечке, перекантовываясь до прихода на работу командира части, думал Дубравин. – Для этого я пошел в армию, чтоб офицерам и генералам квартиры и дачи строить?! Я вообще-то собирался худо-бедно Родину защищать. Присягу принимал. Ну, что делать? Что делать-то будем?»

У него было такое ощущение, что все его помыслы, мечты и желания кто-то, кто руководит его судьбою, быстро-быстро разбивает о действительность: «А ведь и правда! Хотел поступить в училище после школы – вдруг подвернулись эти чертовы чечены. Пришлось делать ноги

из дома. Во второй раз почему-то забрала медкомиссия. Решил попробовать после сержантской школы – опять облом. Все порушили экзамены. Может, это не мое?

Да ну, глупости какие-то я думаю! Надо только приложить усилия, и все получится. Время есть. Желание не остыло. Но одно дело, если я, например, подам заявление в училище с должности строевой, как в сержантской школе, и другое – если со строительной».

Он с тоскою посмотрел на военных строителей, которые, нахохлившись, шли по улице военного городка в своих грязных, замызганных бушлатах, валенках с галошами, с ремнями на яйцах. Сморщенные, небритые, обмороженные лица, лопаты на плечах. Рядом со строем бредет старший сержант, погоняло: сапоги-гармошки, офицерская шапка на бровях, руки в карманах.

Дубравин аж весь ошетинился, увидев свое будущее. Вот так же и он будет брести с этой разгильдяйской толпой полусолдат-полурабочих, больше похожих не на воинов самого могущественного государства, а на каких-то то ли пленных немцев под Сталинградом, то ли партизан.

«В общем, куда ни кинь, всюду блин. Да и Галчонку что писать-то? Она все спрашивает: «Где ты будешь служить? Пришли фотографию». А что он пришлет? Что пришлет-то? Свой портрет в интерьере унитаза, который только что выставили его подчиненные? Да, «приятная» перспектива рисуется. Командовать шайкой разгильдяев и самому постепенно скатываться в этот ряд. Плохо!»

Он достал последнее письмо, пришедшее две недели тому назад:

«Здравствуй, с добрым днем.

Никак не могла собраться с мыслями. Извини за долгое молчание. Я ведь теперь живу в другом месте. Скоро снова сессия. Быстро летит время. Ужасно хочу тебя видеть.

Когда иду с тренировки поздно вечером, кругом столько влюбленных, просто на удивление. Никогда не видела так много. Читала недавно дневник. Все-таки ты гораздо лучше, чем ты себя делаешь. Ведь это правда. Я хочу тебе написать много хорошего-хорошего, чтобы ты шел по улице и всем улыбался. И сказать многое нужно, сколько накопилось за это время необычного. Я хочу, чтобы на твой день рождения шел дождь. И я пойду бродить по лужам и думать о тебе.

Как чудесно все кругом!

Почему-то не могу тебе писать большие письма. А у Валюшки прямо целые сочинения.

Слышишь, я желаю тебе счастья. Это не листья шелестят. Это я шепчу

тебе: счастья.

Твоя Галка.

Когда я отправляла письмо, Людка вложила в него записку. Даже не знаю, что она там написала».

Записка лежала тут же. Но никакого сообщения она не содержала. В ней просто были чьи-то стихи:

Пролетают журавли в небе синем
и кричат мне с высоты твое имя.
Солнце ясное встает: твое имя.
Ветер песенку поет: твое имя.

Хмурый дождь стучит в окно: твое имя.
В моем сердце лишь одно: твое имя.
Роза алая в цвету: твое имя.
Будет грусть в глазах молчать: твое имя.

Ночь дрожит в кошмарном сне: твое имя.
Лишь одна звезда во тьме: твое имя.
Я обнять хочу любя твое имя,
Как мне грустно без тебя...

В таких раздумьях прошли полчаса сидения. В штабе вдруг ни с того ни с сего началась бурная жизнь. Забряцал снимаемый с оружейной комнаты замок. Раздается зычный голос лейтенанта Перфильева:

– Караул, строиться!

На уставленную плакатами площадку один за другим выскакивают бойцы. Все отутюженные, отглаженные, с новыми подворотничками, с оружием в позиции на ремне. Он почувствовал даже некоторую зависть: «Все-таки хоть их и не любят, но они заняты службой. Наводят порядок. И у них самих какой-никакой порядок. А может, и мне пойти в комендантский взвод? А что? Это идея. И для училища хорошо. Узнаю эту сторону армейской службы». Он еще раз представил себя на месте бредущего рядом со строем полудохлых военных строителей сержанта и снова ужаснулся открывшейся перспективе. «Не, я пойду другим путем».

К штабу подкатил зеленый «козелок» командира. Рысью навстречу ему поскакал дежурный. Раздался его крик:

– Полк, сми-и-ирно!

«Точно, надо подать командиру рапорт с просьбой зачислить меня в комендантский взвод», – вставая по стойке смирно, окончательно решил Дубравин.

VI

Специальный пассажирский поезд Усть-Каменогорск – Москва, вяло постукивая колесами, медленно подвигается к столице. Одна за другой проплывают мимо окон остановки электричек, и вот наконец течет перрон Казанского вокзала.

Анатолий Казаков жадно вглядывается в панораму города. Не так давно он по заданию вылетел отсюда в Казахстан. А теперь возвращается обратно. Всего месяц. Но какой это был месяц! Он побывал в Алма-Ате. Повидал наконец своего друга Амантая. Встретился с Жемчужным. И теперь вместе с делегацией уважаемых молодых людей, среди которых почти все активисты-общественники, но есть даже несколько освобожденных комсомольских работников, едет в Москву посмотреть Олимпийские игры. Такое, возможно, выпадает ему первый и последний раз в жизни. И все это благодаря его друзьям из комитета.

Естественно, в этой поездке все как-то не совсем обычно. Необычно то, что их поезд проверяли на подъезде к Москве работники милиции и в штатском. Необычным был сегодня и перрон Казанского вокзала, к которому поезд подошел. Он почти пуст. Несколько носильщиков с бляхами да пара встречающих их девушек из «Спутника» в синей форме, а в руках – таблички с названиями областей.

Когда они дружной молодежной толпой вываливают на платформу со своими нехитрыми пожитками, садятся в новенький и по понятиям советского времени шикарный «Икарус», Анатолий вдруг понимает, что он попал в какой-то другой, неведомый ему город. Где толпы народа у метро? Где гигантские очереди «мешочников», ждущих открытия продовольственных магазинов? Куда подевались московские дети?

Он, конечно, знал, что Москва будет зачищена от диссидентов, проституток и бомжей. Но в реальности город просто опустел. Больше миллиона москвичей отправили в отпуска, на дачи. Всех детей (чтоб не кланчили жвачку, что ли?) сплавили в пионерские лагеря, а студентов – в строительные отряды.

«Все предусмотрено, – думает он, разглядывая одетых в белые форменные рубашечки культурных милиционеров, то и дело мелькающих на улицах. – Сто пятьдесят тысяч таких белорубашечников завезли со всей огромной страны в Москву на эти две недели. А сколько наших здесь? Никто и не сосчитает. Даже из областей вместе с делегациями едут такие,

как я, секретные сотрудники спецслужб».

Автобус подкатывает к их студенческому общежитию.

«Вот так дела! Я буду проживать в своей же общежитии, что ли?»

Но и студенческое общежитие, в которое он сейчас входит, абсолютно отличается от того, в котором он жил весь прошлый год. Куда-то делся с вахты вечный хромой сторож дядя Вася, готовый за бутылочку пропустить на ночевку в гости веселую компанию. Нема его, нетути. Растворился в воздухе олимпийского города. Сидит теперь на вахте подтянутый и немногословный молодой человек не поймешь откуда. И так вежливо, но настойчиво требует пропуска. И очень внимательно вглядывается в лица, то ли запоминая, то ли сравнивая с кем-то постояльцев.

Ба! Все отремонтировано. В коридорах новый линолеум, в туалетах не обшарпанные, без седушек ветераны, на выщербленные края которых, как петухи на насест, взбираются студенты, а белые фаянсовые лебеди. В комнатах чистые обои без винных следов и кровавых пятен от раздавленных клопов. И мебели. Новые мебели! Куда-то улетели койки с пружинными сетками, которые под грузом студенческого тела вытягиваются так, что хозяин едва не достает задницей до пола. Вместо них строгие, как солдаты, деревянные кровати с жесткими матрасами и шерстяными одеялами. Заправленные твердой рукой. Нету и застиранных, с прогрызенными в прачечной дырами наволочек и каменных подушек. Все белье цветастенькое и новенькое.

А когда их повели в бывшую студенческую столовую, где можно было пообедать на талон за тридцать пять копеек, получив по нему «суп кандей из ишачьих мудей» или «суп тритатуй – кому мясо, кому...», а в придачу гороховую «музыкальную» кашу, он остолбенел. Больше всего его потрясли не пластмассовые новенькие беленькие столы и стулья, не чистые до голубизны колпаки и передники поваров, а упакованное в тридцатиграммовую обертку сливочное масло. А также мармеладные кубики.

И всего много. Бери сколько хочешь. Бесплатно.

А называется «шведский стол».

Он расположился в большой комнате с двумя такими же туристами. И позвонил Маслову, чтобы доложить ему о прибытии и получить инструкции на дальнейшие действия. Маслов, видимо, был загружен по самое не могу. Быстро выслушав его рассказ, он ответил:

– Сейчас встретиться не получится! Поэтому ты обратись к дежурному по общежитию. Это наш человек. Установи с ним порядок контактов. Располагайся. Перезвони мне через... – он на мгновение замолчал, видимо

заглядывая в ежедневник. – В восемнадцать ноль-ноль, – и положил трубку.

Казаков даже слегка обиделся. Все-таки он все сделал как надо. Приехал, хотел рассказать, что да как. «Ну да ладно, – подумал он. – Все равно надо отработать как следует». И направился разыскивать дежурного по общежитию.

Нашел он его в комнате с табличкой «Оргкомитет». Чего там был оргкомитет, не знал никто. Да, в сущности, это никому не было интересно. В помещении сидел молоденький спортивный парень с самой обычной, заурядной внешностью. Казаков уже знал, что в учебные заведения комитета никогда не возьмут на работу человека с какими-то особыми, выделяющими его из толпы приметам. Судя по всему, этот паренек не так давно выпустился из училища. И был старше Анатолия не более чем года на три. Поздоровались. Анатолий отметил, что он приехал из Усть-Каменогорска по поручению Маслова. Парень понимающе кивнул. И записал его в свой оперативный блокнот. ФИО, комната, откуда приехал. Потом, слегка важничая, постарался ввести в курс оперативной обстановки:

– Олимпиада идет уже неделю. Группы, которые приехали на открытие, убывают по местам. Сейчас подъезжает народ на вторую половину. В целом обстановка нормальная. Под контролем. Хотя не бывает без проблем.

Город поделен на зоны безопасности. «Желтая зона». «Красная зона». Бывают какие-то инциденты. Духи пообещали разделаться с командой Афганистана. Так что в Олимпийской деревне наши работают везде. На входе каждые полчаса проверяют каждую урну, каждый шкафчик. Кругом видеокамеры. Все начеку. Да, в общем, сам увидишь. Вот тебе мой телефон. Если что, звони, – и, не выдержав взятого официального тона, подмигнул ему: – Оттягивайся! Здесь классно.

Анатолий вышел от него и попал прямо в холл, где ведущая тургруппы раздавала билеты на разные соревнования. Вся толпа хотела посмотреть боксерские поединки, где уверенно пробивался к финалу Серик Конакбаев из Алма-Аты. И где великий Теофило Стивенсон должен был вот-вот завоевать олимпийский титул третий раз подряд.

В принципе ему было по барабану, что смотреть. Все было интересно и здорово. Поэтому, памятуя о поставленной задаче – приглядывать, он выбирал те соревнования, на которые могли пойти люди из его группы, казавшиеся ему чересчур отвязными, назойливыми или слишком общительными. Среди его задач главной была такая: контролировать

нежелательные контакты с иностранцами. Легко сказать. Их на Олимпиаде за пятьсот тысяч. И ходят они по тем же улицам, сидят на тех же трибунах, обедают в тех же кафешках, где пьют пиво его подопечные из Усть-Каменогорска. А если среди них есть антисоветчики, нераспознанные враги? Появятся связи, начнут передавать литературу. Бди, товарищ! В общем, тотальный контроль при кажущейся свободе.

Билеты были красивые, как деньги. Из плотной хрустящей бумаги: сверху красная полоса, посередине узкая зеленая, снизу широкая светло-голубая. Пиктограмма показывает вид спорта. Рисунок – Большую арену стадиона имени Ленина. Указаны время, трибуна, сектор, ряд и место. Цена – двенадцать рублей, а внизу написано: «Скидка – семьдесят процентов».

А уже вечером он сидит на трибуне и смотрит, как по покрытой тартаном дорожке мчится наш квартет бегунов.

Странное дело: занятый своей миссией, он особо не задумывался о смысле и значении Олимпиады. И только сейчас, забравшись на трибуну, устроившись среди беспечной публики в чудном зеленом пластмассовом креслице, Казаков вдруг почувствовал, что дело здесь нешуточное. Важное для самочувствия всей их большой страны и народа. Так что, когда наша четверка победным вихрем промчалась по арене, он вместе со всеми ощутил невероятную гордость за свою Родину. И, охваченный общей волной ликования, тоже вскочив с кресла, завопил:

– Ура! Молодцы, ребята! Ура!

А сам все поглядывал, косил взглядом на иностранцев. Как, мол, вам? Знай наших!

А наряду с гордостью за своих, за свою страну он чувствовал, как быстро исчезает барьер между нашими людьми и иностранцами. Все эти обмены сувенирами, значками, совместные переживания по поводу побед и поражений, беседы по душам на трибунах быстро разломали стереотип, который годами выстраивала пропаганда с обеих сторон.

Сначала он с некоторым недоверием и опаской относился к французам, немцам, англичанам, массово приземлившимся в Москве, потом глядел на них с любопытством, а потом... потом привык. Они для него стали такими же обычными людьми, как и он сам. И вот это чувство, с одной стороны, гордости за своих, а с другой – какого-то общечеловеческого братства, общности всех людей и народов – это ощущение особенно ярко проявилось для него в одном эпизоде.

Шли соревнования по прыжкам в высоту среди мужчин. Наши советские быстро сошли на нет. Остался один на один с планкой немец из

ГДР. Высота далеко за два метра. Мировой и олимпийский рекорд.

Первая попытка.

Сбил планку. Чуть-чуть не долетел.

Вторая.

Стадион – сотни тысяч людей – затаил дыхание. Разбег, толчок. И...

Два двенадцать не покорились. Как один человек выдохнул стадион.

Гул разочарования.

Неужели не удастся?

Долгая подготовка к последней попытке. Хождение туда-сюда.

Обтирание полотенцем. Жара.

И вдруг... Рывок туда, к планке. И полет! Полет! Воспарил спиной над планкой.

Руки вверх. Крик. Такой, что взлетели испуганные голуби в синее небо.

– А-а-а-а! Победа!

Весь стадион как один вскочил. Заорал. Давай обниматься, целоваться.

Слезы. Катарсис!

В эту секунду Анатолий вдруг почувствовал, что это не немец взлетел над планкой. Не еще одна золотая медаль нашла своего хозяина. Это общая победа всех людей. Это они все в лице Векслера – кажется, так его звали, чемпиона, – преодолели эту планку. Поднялись еще чуть-чуть над собою, преодолели себя.

Потом, через десятилетия, когда давно забылись победители и побежденные, это безошибочное ощущение всечеловеческого братства, общности жило в нем. И грело душу.

Когда-то основатель современных Олимпийских игр барон Пьер де Кубертен воскликнул: «О спорт, ты мир!». Формально он был прав. Для тех, чьи сердца не отравлены ядом шовинизма, так оно и было. Это с одной стороны. Но была, есть и будет другая сторона олимпийского «золота». Вечное соперничество народов, рас и стран возродилось здесь в новой форме. Деление на «мы» и «они», свойственное человеческой природе. И победа на Олимпиаде – как победа на войне. Это значит: мы лучше, мы сильнее, мы быстрее. И вот уже считаются медали и очки, повышаются ставки. Борьба охватывает все новые и новые сферы. Вступают в нее на той или иной стороне химические корпорации. Разрабатывают новые и новые виды допинга, хитрые медицинские манипуляции...

Врачи ломают голову, как выжать из человека все...

Бьются инженеры и конструкторы. Изобретают специнвентарь, спецобувь, спецодежду.

Вырвем у врага мгновение, сантиметр, грамм...

Разворачиваются батареи телекамер. Роты комментаторов. Психологическая борьба двух систем вступает в фазу обострения. Вперед! Вперед! Мы впереди! Ура!

Ну и, естественно, где конь с копытом, там и рак с клешней. Спецслужбы проводят свою олимпийскую гонку. Кто кого? Чья возьмет?

Сборная спецслужб Советского Союза уверенно побеждает своих соперников. Тотальный контроль, установленный на всех уровнях, дает результаты. Как-то сам Казаков решил сходить в ГУМ, где и наблюдал «сцену у фонтана». А точнее, одну из стычек невидимой войны.

Идет он по Красной площади. Подходит к магазину. И видит группу диссидентов еврейского вида. Интересно ему стало. Остановился посмотреть. Только развернули они свои плакатики с надписями: хотим, мол, в Израиль – как откуда ни возьмись, ровно через три секунды, «рядовые граждане», молодые, спортивного вида ребята пресекли провокацию. Кинулись на протестующих, затолкали их в подворотню, разодрали бумажные плакаты и, не дав пискнуть, утащили диссидентов во дворы. Анатолий только руками развел: «Ну дают! Ну молодцы! Все как в басне: «Крестьянин ахнуть не успел, как на него медведь напал».

Но бывали моменты, когда слаженная и налаженная система давала сбои. Чаще всего это случалось, когда взбрыкивали сами организаторы игр и спортсмены. Им, по большому счету, было абсолютно наплевать на напряжение спецслужб. В таких ситуациях приходилось принимать нестандартные решения прямо на ходу.

Одной такой ситуацией стал забег на олимпийскую милю. В чью-то романтическую башку залетела идея. Надо, чтобы москвичи и гости столицы, западные и наши туристы тоже почувствовали себя участниками Олимпиады. Пускай они побегают. Все завертелось, закружилось. Обозначили маршрут. Постановили. Бежать завтра. А об охране-то и забыли. Вспомнили только в последний момент.

Расставлять народ по маршруту было поздно. Фильтровать бегущих невозможно. И тогда кому-то из «девятки» тюкнула в голову мысль о том, что вместе со спортсменами, среди них, должны бежать и сотрудники КГБ. Стали срочно собирать ребят. А так как большинство было занято на олимпийских объектах, то решили привлечь к забегу на олимпийскую милю и нештатных сотрудников из числа тех, кто помоложе.

И вот он уже бежит по набережной Москвы-реки, прикрывая активистов олимпийской мили и приглядываясь к тем спортсменам, которые кажутся ему слегка странными. Это был забег так забег. Молодой, сухой, длинноногий, он то мчится рядом с тощей, морщинистой, как

селедка, бабушкой, которая, трясая под майкой дряблыми сиськами, неторопливо трусит по дорожке. То скрывается в кустах и ждет, когда мимо него пропыхтит, как паровоз, пузатый, лысый дядька, видно, бывший спортсмен, решивший тряхнуть стариной. В общем, приходит он к финишу только часа через два. Смешно.

Впрочем, был и другой случай. Не смешной. Двадцать восьмого июля они кучей боевой, летучей, пришли в крытый бассейн смотреть соревнования по плаванию в прозрачной голубой водичке. И обнаружили, что трибуны почти пусты. Не успел Анатолий сообразить, что к чему, как к нему подкатили две девчонки-туристки из его группы:

– Толик! Нам сейчас сказали, что Высоцкий умер!

– Какой Высоцкий? Владимир? Как умер? Он же такой молодой! Ему и лет-то, может, сорок всего!

– Никто не знает. Похороны сегодня. Народ собирается на Таганке. Ты поедешь? Ты же вроде Москву знаешь? – они обе вопросительно уставились на него.

Девчонки были хорошие. С одной из них, Валентиной Матвиенко, полненькой, кудрявой, круглолицей комсомольской активисткой из строительного техникума, у них здесь даже началось что-то вроде дружбы. Она без конца приглашала его к себе в комнату попить чайку, поболтать о том о сем. Короче говоря, липла деваха к нему. Ну, а ему-то что? Он молодой, холостой. Ему, что ли, плохо? Так кружились, терлись друг около друга. Молодость. Олимпиада. Что еще для счастья надо? Наверное, при других обстоятельствах он бы махнул рукой да и пошел бы с ними побродить по магазинам, постоять на Красной площади. Но тут он понял сразу. Случай-то совсем другой! Ведь не было вечера, чтобы у них в общежитии первокурсников не пели Высоцкого. Он и сам, бывало, взяв гитару, расходился не на шутку, спевая свою любимую «На краю!». А тут такое. Почешешь репу. «Надо срочно звонить своим. Маслову или дежурному. Это событие». Девчонкам же ответил, что сейчас кой-куда сбегает и будет готов пойти с ними.

Маслова, как назло, на месте не было. Но случайно он столкнулся в коридоре общежития с молодым пареньком, дежурным от КГБ, который куда-то торопливо собирался. Они уже почти разминулись, когда тот неожиданно развернулся и сказал ему:

– Во, давай со мной на Таганку. Высоцкий умер. Сегодня похороны. Там народ собрался. Тысяч сто. Главный режиссер звонил нашему генералу. Боятся, что будет вторая Ходынка. У нас всех свободных собирают, чтобы взять все под контроль, обеспечить порядок.

Машина не дошла до театра несколько кварталов. Народная масса постепенно густела, как вода в реке в морозный день. Они оставили машину и почесали к указанному месту сбора пехом, то и дело проходя сквозь хмурые группы людей, пока не уперлись в край стихийной, громадной и абсолютно неуправляемой толпы.

Здесь они, поднявшись на цыпочки, долго вглядывались в людское море поверх голов. Искали своих...

...Через полчаса с траурными повязками на рукавах они уже стояли в оцеплении, сбивая напирющую толпу в гигантскую скорбную очередь. Анатолий спросил стоявшего рядом с ними хмурого гэбиста:

– Слушай, а что случилось? Он же такой молодой был! Полный энергии. Я его видел в спектакле в роли Хлопуши...

– Володя? Да он наркоман был законченный! Не слезал с иглы много лет. Его уже не раз с того света врачи вытаскивали. Чистили. А в этот раз он где-то на дачах был. Ну и передозировался. Дружки его везли в Москву, в «Склиф». Не успели. В машине и скончался.

Потрясенный, как говорят, до самой глубины души Казаков часа два тупо переваривал эту новость, вглядываясь в проплывающую мимо них очередь.

«Высоцкий. Человек-мечта. Великий актер. Гениальный поэт-песенник. И так грубо, прямо в грязь. Не верю! Не верю!» – билось в сердце.

Но от жестокой правды куда денешься? И особенно в такой солнечный и скорбный день.

А люди все шли и шли. Многие несли магнитофоны, где гремел его голос...

Они уже оттоптали себе распухшие от стояния ноги. Страшно хотелось пить. Болела поясница.

Но всему бывает конец.

В притихшей, остановившейся толпе вдруг кто-то тихо ахнул. От театрального подъезда на руках поплыл белый-белый гроб...

«Опять Россия безвременно хоронит своего очередного гениального поэта! – печально думал Анатолий Казаков. – И почему они у нас долго не живут? Пушкин, Лермонтов, Есенин... А теперь вот Володя. Может, у нас климат не тот? Не выживают тонко организованные личности».

Кто-то громко сказал в тишине: «Что имеем – не храним. Потерявши – плачем».

«Да, расточительный мы народ», – мысленно ответил он на эти слова.

Улетел в небо на разноцветных шарах под аплодисменты симпатяга Миша. Москва снова зажила той же самой нервной, суетливой жизнью. Вернулись в нее орды озлобленных мешочников. Двинулись на приступ «колбасные» электрички. Заулыбались сквозь усы кавказцы на рынках.

Только не стало больше в первопрестольной студента Анатолия Казакова. Тихим осенним утром покинул он столицу нашей Родины городгерой Москву. Куда путь его лежал? Так это тайна. Потому что по окончании игрищ позвал его к себе Маслов. Представился официально подполковником и предложил:

– Хорошо мы этот год поработали, Анатолий Николаевич. Пригляделись к вам. И делаем предложение. Переходи-ка ты к нам насовсем. На службу, – и, заметив его недоумение, добавил: – Пойдешь учиться в наше училище. Через четыре года станешь кадровым офицером Комитета государственной безопасности...

Он потом долго пытался понять, что же все-таки привело его на эту дорогу. «Наверное, мне нравится чувствовать себя востребованной частицей какой-то могучей организации», – думал он.

Но это была только часть правды. Другая состояла в том, что он просто любил приключения, атмосферу таинственности и игры, которая чрезвычайно привлекала его изменчивую и авантюрную натуру.

И престиж, престиж нельзя сбрасывать со счета. Что греха таить, работать в «Комитете глубокого бурения», как шутили сами сотрудники, было для него здорово.

Так что, особо не заморачиваясь, он дал согласие.

VII

Взвод приглядывался. Появление двух новых сержантов из пополнения в замкнутом мире комендантского взвода произвело переполох. Разные группировки – а взвод, как и всякий коллектив, был поделен на группировки – по-разному отнеслись к их желанию здесь послужить.

Во взводе была странная и в общем-то взрывчатая смесь разных народов, которые под сильным давлением плавилась и кипели в армейском котле. Самыми старшими здесь были грузины: Лоладзе, Меладзе, Блуашвили, Бердашвили и Жвания. Одного с ними призыва были армяне: Григорян, Авакимян и Акопян. К «старикам» примыкал еще один азербайджанец по фамилии Алиев. Дальше шли те, кто отслужил год. Это были русские ребята с Алтая: Вершинин, Ежов, Пашка Падалко и Дорофей. С ними еще несколько невзрачных ребят, коих объединяло только то, что они барнаульцы. Из призыва алма-атинцев, то есть «черпаков», отслуживших всего полгода, были Амантай Тунекбаев, Соломатин, Колчедан, Валерка Дершунин и иже с ними. Ну вот, к ним теперь поступило пополнение в виде сержантов Дубравина из Алма-Аты и Ашина из Рязани.

Исходя из этой расстановки по сроку службы и землячеству складывались и отношения. В разных подразделениях они, кстати говоря, принимают разную форму, но чаще всего – дедовщины.

Комендантский взвод, призванный поддерживать порядок в гарнизоне, состоявшем из трех частей, тоже не обошла эта проблема. Но здесь на нее накладывалось то, что коменданчи жили неким обособленным от других подразделений мирком. И удерживались среди них в основном люди амбициозные, драчливые и жесткие. Так что, когда «старик»-грузины взялись «наводить порядок» и для этого поколотили несколько человек, оказалось, что не все так просто.

Пытались они наехать на Солому. Но Алексей, здоровенный очкастый малый из интеллигентной семьи, оказался крепким орешком. Когда-то он занимался боксом. И поэтому сразу сам кидался в драку, а в случае чего становился в угрожающую боксерскую позу. Ну а так как настоящей злобной воли опустить и унижить человека у грузин не было, то через какое-то время они махнули на него рукой. Солома, как волк-одиночка, остался непокоренным.

Барнаульцев они просто боялись, потому что Пашка Падалко, парень

спортивный, жилистый, закончил спортивный техникум и всегда готов дать сдачи. Ну а при нем терся Дорофей. Мужик с характером, с гнильцой, этакий говнистый толстячок с круглой, жирной мордой.

Вместе они верховодили среди барнаульцев.

С сержантами, даже такими молодыми, как Дубравин и Ашин, было другое дело. Их «старики» не трогали, понимали, что это власть. А власть надо уважать. К ним относились снисходительно-покровительственно.

Командовал комендантским взводом только что пришедший из училища лейтенант Валерий Булькин. Полный разгильдяй. И таким он был, видимо, и курсантом. Так что при нем «старичкам» воля.

Конечно, Дубравин, наблюдая сейчас из окна казармы за построением очередного наряда на службу, не знал еще расстановки сил. Да и что он мог знать? Он сегодня впервые заступает начальником караула.

Построились у своей казармы. И друженько потопали прямо к штабу, где на площадке для разводов их уже ожидал дежурный по гарнизону офицер – майор Скатов. Расставились по постам. Первые четыре человека – это наряд во главе с начкаром – на гауптвахту. Трое – наряд на контрольно-пропускной пункт. Еще трое – наряд на склады. Двое – в город с патрульным офицером. В казарме должна находиться резервная группа во главе с сержантом Ашиным. Вот, собственно говоря, и весь состав.

Комендачей, кроме этой их караульной службы, начальство привлекало и на другие задания. Ловили дезертиров. Отвозили осужденных солдат в штрафной батальон. Возили подследственных. Занимались ремонтом ограждения. Разнимали массовые драки.

И вот сегодня Дубравин, полный самых благорасположенных мыслей, впервые вступает в этот мир. Много он слышал рассказов о жестокости комендачей, об их свирепости, спайке. По гарнизону ходили слухи о том, как избивают они до полусмерти солдат, попавших на гауптвахту, сокращенно – на губу. Как ломают и усмиряют самых борзых.

Вот она, таинственная зеленая дверь со звонком на губу, находящаяся прямо в самом конце штабного здания. Он нажимает звонок. Открывается глазок. В дырке появляется чей-то глаз.

– Кто там? – этот вопрос относится к нему.

– Свои, смэна пришла! – кричит в окошко Меладзе.

Дверь сразу настезь. И они заваливают через исшарканный сапогами порог к новому месту службы.

Счастливый, отработавший свое караул быстро собирает вещи, но Блуашвили их останавливает:

– Нэ, рэбятя! Сначала сдавайте все как положено. Мы нового сэржанта

в курс дела будем вводить.

Приходится ефрейтору Вершинину показывать хозяйство. Ведь «старики» решили сами сегодня на губе подежурить, чтобы показать «молодому сэржанту», как надо нести «службу».

Вершинин достает из ящика шапки, ремни и прочие вещи, которые сдают при посадке на губу арестованные военнослужащие. Пересчитывает их. Бердашвили принимает все по списку. Ругаются, потому что в наличии не оказывается двух брючных ремней. Наконец все барахло пересчитано, наличие арестантов проверено. Вроде бы все на месте. Никто не сбежал. Дальше старый караул уходит, новый занимает его место.

В распоряжении четырех солдатиков комната с топчаном, обшарпанным столом, ящиком на стене и двумя амбарными книгами. В этих книгах ведется учет арестантов, лежат записки от разного начальства.

Есть еще чуланчик. В нем в два этажа сбиты деревянные нары. На них навалены пыльные матрасы. Это комната отдыха караульных.

На губе всего четыре камеры для арестованных. Небольшая, метров на шесть, одиночка. Общая камера человек на двадцать. Еще одна небольшая комната для сержантов. И огромная пустая камера для временно задержанных – как называют ее, «кандейка». Туда собирают тех, кого задержал патруль в «самоходе», пьяных, хулиганов и прочих чудиков. Держат их до тех пор, пока начальство не разберется и не решит, что с ними делать. То ли выпустить, то ли посадить под арест. Решение это принимают чаще всего командиры. В зависимости от должности каждый из них может лишить военнослужащего свободы на срок от одних до пятнадцати суток.

Дубравин, наслушавшийся о зверствах, творимых комендачами на гауптвахте, строго-настрого предупредил Блуашвили, Бердашвили и Шманка, что он все будет делать строго по уставу и не позволит издеваться над воинами Красной Армии. Те безропотно согласились. Пусть будет так.

Счастливый, что все обошлось без скандала, он сел за стол начальника караула и приступил к службе.

Минут через десять зазвонил звонок. Ефрейтор Шманок, маленький – метр с кепкой, заросший черными бакенбардами армянин, пошел открывать дверь. Через секунду раздался дичайший грохот, от которого Дубравин вскочил как ошпаренный. Еще через секунду на пороге караульной комнаты появился двухметровый Солома в своих интеллигентских очках, с красной патрульной повязкой на рукаве. Позади него маячило носатое, круглое лицо Юрки Колчедана. Один за шиворот, другой подталкивая сзади, они волочили здорового пьяного мужика в

нахлобученной на уши пилотке, грязной гимнастерке и с трехдневной щетиной на лице.

– Принимай, начальник, воина! – весело сказал Солома, вталкивая его в помещение. – Записывай! А мы пошли дальше патрулировать.

– Ваши документы! – дрожащей от волнения рукой Дубравин принялся открывать журнал записи временно задержанных.

– Пи! – ответил пьяный, дохнув перегаром. Он быстро освоился, оглядел помещение и принялся куражиться.

– Ну, во, псы поганые! – размахивая руками с черными от грязи ногтями, кричал он. – Вы знаете, кто я такой? Да я пять лет на нарах парился.

Растопырив руки, он уселся на топчан и, судя по всему, готовился лечь на него.

Блуашвили и Бердашвили, два усатых смуглолицых грузина, весело переглянулись и с интересом уставились на Дубравина: «Ну и как ты с ним по уставу будешь вести разборки?».

Дубравин вскочил с места, подошел к пьяному:

– Как твоя фамилия? А? Ты что здесь разлегся? Тебе что здесь, дом отдыха?

– Бэ! – куражась, промычал пьяный и высунул мясистый, багрово-красный язык, показал его сержанту.

Дубравин в растерянности огляделся вокруг, ища поддержки у народа. Но народ в лице караульных только пожимал плечами: «Ты же хотел, чтобы все было по правилам, вот и действуй!».

Тут пьяный военно-строительный боец вскочил с топчана, на котором неожиданно появилась лужа, и принялся орать:

– Я вас, уродов! Знаете, кто я такой?! Суки, будете у меня сапоги лизать! Лижите сапоги, сволочи!

Он бушевал, кидаясь на патрульных.

– Товарищу сэржанта, – наконец не выдержал Шманок, – не волнуйтесь. Счас мы его успокоим!

Дубравин в отчаянии махнул руками. Делайте что хотите, только избавьте меня от этого кошмара.

Дальше все произошло мгновенно. Маленький, едва по пояс пьяному амбалу, Шманок сделал два резких, четких движения, и пьяный амбал сложился напололам, а потом сел попой прямо в урну, стоявшую в углу караулки. Оттуда его аккуратно и быстро извлекли Блуашвили и Бердашвили и подвели к столу. Шманок сел за стол, взял ручку.

– Так, фамилия?

- Дундуков!
- Имя!
- Валя, Валентин то есть!
- Как? Валентин?
- Нет, господин сержант, В... Валентин!
- Рота!
- Шестая!
- Распишись здесь!
- Слушаюсь!
- В клетку бэгом!
- Есть!

И рядовой Дундуков боком-боком, чтоб не видно было мокрых штанов, вылетел в коридор. Вскоре за ним загремел засов «кандейки».

– Видишь, как все хорошо! – обращаясь уже к Дубравину, заметил Шманок. – Все у полном порядке!

Ошалевший, с широко раскрытыми глазами сержант Дубравин пребывал в шоке еще целых полчаса после описанных событий. На самом деле воспитание, образование, вся его природа восстали против такого порядка. Ведь даже для того, чтобы ударить другого человека, надо что-то переломить, преодолеть в себе. Опрокинуть свои представления обо всем. Но жизнь на гауптвахте не давала ему возможности поразмышлять над увиденным. Надо было реагировать на происходящее вокруг и каждую минуту доказывать делом, что ты здесь командир.

Уже к концу суточного наряда ему во всей простоте и ясности стали одна за другой открываться простые истины. О власти и о себе. Все здесь было просто. Либо ты командуешь на губе. И все работает. Либо командуют те отбросы человеческого общества, которые сюда спихиваются отчаявшимися отцами-командирами. А удержать их в повиновении, заставить себя уважать в этом обществе можно было только одним – силой.

Служба в комендантском взводе и возможность почувствовать свою власть над людьми сразу выявляли все человеческие качества. Запертые на губе в замкнутом пространстве, арестованные и их караул вынуждены приспособливаться друг к другу.

Обычно в наряд в караул на гауптвахту ставили молодых солдат. Это, так сказать, для укрепления их боевого духа и выработки характера. Отстояв в карауле сутки через двое по полгода, многие из них становятся неврастениками, у некоторых появляется тик, экзема или какие-то другие проявления нервного синдрома. Часть из них, особенно те, кто в обычной

жизни был не слишком успешен, превращается в зверей-садистов, другие не выдерживают напряжения, уходят из комендантского взвода в другие подразделения. Ну а только редкие из редчайших ухитряются сохранить в этом аду обычные человеческие качества.

Справиться с пьяными буянами – дело несложное. Если первичные отрезвляющие меры на него не действовали, то караул брал длинную веревку, заваливал буяна на тот же самый топчан, связывал ему руки сзади, потом той же веревкой связывал ноги и соединял ноги и руки за спиной. Если буйство продолжалось долго, кто-нибудь брался за веревку и приподнимал, подвешивая буяна за веревку. Это была «ласточка». Минут через двадцать после связывания боец клялся и божился, что больше не будет орать и драться, и его отпускали.

Бывали случаи, что в «кандейку» нагоняли хренову тучу народу. Это когда у военных строителей выдавали деньги. Тогда их пригоняли целыми пьяными отделениями ночевать на губу. И бывало, что в «кандейке» начиналась большая буза. Пьяная толпа принималась орать песни, бить в двери ногами, материть стоящего на посту караульного. Справлялись коменданты и с такой бедою. Иногда выгоняли в коридор, строили и «мочили» всех подряд. В итоге через полчаса все успокаивалось. Но чаще применяли другие меры. В «кандейке» пол деревянный. И караул просто заливал камеру водой. Принесет несколько ведер – и уже в «кандейке» ни сесть, ни лечь невозможно. Ну, постоят алкоголики час-другой, пошумят, а потом успокоятся и высылают парламентаря к начальнику. Давай, мол, договариваться по-хорошему. Им выдают швабру, тряпку, ведро. Они собирают воду с настила. Просушивают камеру. И ложатся спать.

Наутро приходит их сержант и забирает «воинов» на работу.

Были такие, кто губу считал своим родным домом и почти не вылезал из нее. Один азер такой и был. По характеру наглый, базарный, как цыган. По виду сухой, жилистый, будто свитый из толстых корабельных канатов. Сидел он постоянно. Обычно губарей выводили на день на работы. Убирать территорию возле штаба или помогать на кухне делать что-нибудь тяжелое. А этот уже так всех достал, что его никуда и не брали. Начальство хотело сплавить его в штрафбат. Но для этого его надо было судить. Но хитрый азер повода посадить себя не давал.

И вот, находясь целыми днями на губе, он принимался от скуки с утра до вечера изводить караульных. Начинал обычно с того, что называл их слюнтяями и слабаками. И рассказывал о том, что когда он выйдет с гауптвахты, то разделается с ними. Что вот все вместе они, конечно, одолеют его, а вот один на один с ним, с борцом, никому из них никогда не

справиться. И он любого положит на лопатки. Когда в карауле появился новый сержант Дубравин, он принялся клеиться и к нему. «Молядой! – начинал он базар, выглядывая в квадратное окошко, выпиленное в деревянной, обшитой жостью зеленой двери. – Выходи бороться! Я тебя зделаяю, как циплонка!» И делал страшные глаза, выкатывая белки.

Сначала Дубравин не обращал на эти его постоянные попытки зацепиться никакого внимания. Но, как говорится, ржа железо ест, а капля камень точит. На третье его дежурство, когда всех зеков уже вывели на работы, «хрен с горы» принялся в очередной раз доводить до кипения стоявшего сейчас на посту в коридоре Серегу Степанова. То обзывал его бабой: «Ты не мужчина!», то требовал через каждые полчаса, чтобы его выводили в туалет. Или принимался орать, что его ограбили: «Сержант! Сержант! У меня сигареты пропали!». Так тянулось час за часом это нудное дежурство, пока он не переехал на излюбленную тему молодых сержантов.

И тут Дубравин, который все пытался игнорировать эти его выступления и только молча и напряженно улыбался на все попытки Зейналова зацепить его за живое, сорвался. Он отодвинул Степанова и влетел в камеру. Но, как ни странно, это была не драка. Они начали бороться, благо места было достаточно. Характер схватки обнаружился сразу. Явно было видно, что Александр Дубравин сильнее Зейналова физически и даже в какой-то степени техничнее его. Но вся штука была в том, что сухой и жилистый Махмуд, как лиана вокруг дуба, обвился вокруг него, вцепился в него. И никак не давал провести полноценный подхват и бросок.

В конце концов Александр свалил Махмуда на пол камеры и прижал его к доскам. И казалось бы, на этом схватка закончилась. Но стоило ему выйти из клетки, как противник, вскочив на ноги, принялся орать:

– Ты неправильно боролся! Я твою маму е..., сержант!

Дальше сцена повторялась с точностью до деталей. Дубравин снова врывался в клетку. Короткая схватка. А затем поверженный Зейналов признавал поражение. Но стоило только Дубравину выйти, как он опять начинал:

– Вот я выйду, всех вас в...! Будэтэ знать!

Так могло продолжаться часами.

Уже с первого дня, когда он попал в армию, у Дубравина начался сложный и неоднозначный мыслительный процесс. За этот год он сильно изменился. Уже не метал бисер перед свиньями, пытаясь личным примером увлечь подчиненных на уборку территории или патрульную службу, не пытался и перевоспитывать хамов.

Для него стало совершенно очевидным, что власть никто никому не дает. Власть только берут. Еще труднее ее удержать, потому что люди привыкают к ней, а потом начинают пробовать на зуб. И для того, чтобы ее удержать, нужно внушать страх. То есть периодически надо проводить беспощадный террор по отношению к подчиненным. Но это еще не все. Террор – штука хорошая. Но в конце концов люди привыкают и к нему. Поэтому он теперь понимал, что обязательно надо иметь опору, верных людей в коллективе. В любом – будь то армейский взвод или заводская бригада.

Но он видел, как власть и развращает человека. Понимал, что упоение ею опасно. Особенно опасно, когда у власти появляется ущербный, гнилой человек.

Однажды ему довелось наблюдать, как на глазах меняется такой изгой, если ему в руки попадает власть и оружие.

Младший сержант Серега Степанов, ладненький, кругленький, розовощекий бравый паренек, был большим юмористом и шутником. И однажды он отчебучил. Как-то на губу пригнали совсем молодого доходягу-первогодка. Был он несуразен. Как цыпленок. Гимнастерка торчала на спине колом. Сапоги раздолбанные, разбитые, ни на что не годные. Большая шапка сползала на уши. Сам тощий, как былинка. А главное, запуганный по полной программе. Есть такие люди запуганные, задрюченные, изгой в армейской да и в любой другой среде. И вот такогото колбасника кто-то из офицеров за что-то посадил на трое суток на губу. Естественно, и на губе попал он сразу в положение мальчика на побегушках. Его шугали все, кому не лень. И караульный, и зеки. Он мел пол, выносил мусор, мыл посуду. «Бегал с вертолетом». Пока. Пока не случилось вот что.

Степанов, которому после ночного самохода к девчонкам надоело стоять на посту, вытащил его из камеры, дал в руки СКС, что значит «скорострельный карабин Симонова». И поручил постоять за себя, пока он поспит. Естественно, первые полчаса молодой, назовем его Свиницкий, боялся всех. И этим пользовались. Какой-нибудь обросший трехдневной щетиной Арутюнян подходил к окошку в двери камеры и рывкал:

– Свиницкий, иди сюда!

Караульный, он же одновременно и арестант, подбегал на цырлах к окошку. И Арутюнян командовал:

– Воды!

В ответ Свиницкий быстро бежал за кружкой и подавал воду.

По прошествии некоторого времени такого действия этот мокрый цыпленок сначала стал отмахиваться от своих бывших сокамерников. Потом, осмелев, стал посылать их на три буквы. А через пару часов Дубравин стал свидетелем вот какой сцены. Когда Зейналов уже не в первый раз рявкнул:

– Свиницкий, поди сюда! – Свиницкий в ответ ударил прикладом прямо в окошко, в котором появилась усатая морда Зейналова. Тот так и отскочил. А Свиницкий с головы до ног обложил его, да так профессионально, как не мог бы сделать сам сержант Степанов.

Перерождение свершилось. Как только задрюченный человечек получил оружие и право на маленькую, мизерную власть, он тут же изменил алгоритм своего поведения на противоположный.

Дубравин, с интересом наблюдавший весь этот процесс, приказал Степанову немедленно прекратить этот эксперимент и надолго задумался: «Не зря говаривал товарищ Мао, что «винтовка рождает власть». Она и развращает людей. И дело здесь даже не в Свиницком. Бог с ним. Этот отпечаток я вижу и на других ребятах. Наверное, он есть и у меня. Став комендачом, получив в руки какие-то права, мы считаем себя особенными. Мы ведь, в сущности, военная полиция. Проверяем документы. Можем задержать человека. Караулим. Вот многие и скурвились. Лупят всех направо и налево. И правых, и виноватых. Надо как-то все-таки себе самому понимать, что следует сдерживаться».

Дубравин завоевал вскоре и среди караульных, и среди губарей славу справедливого сержанта. Никогда после этого случая он не пускал в ход кулаки, если арестованный человек не был виноват, не задирался, не лез на рожон. И это уже было большим прогрессом, ибо остальные, принимая арестованного или задержанного, сначала давали ему оплеуху. Били под дых или по почкам, а уже после этого начинали разговаривать.

Впрочем, он не позволял и садиться себе на голову. В крайних случаях, когда надо было осадить урода, действовал быстро, решительно и беспощадно.

VIII

Дежурство на губе было самым сложным в школе закаливания бойцов-комендачей. Выход в патруль без офицеров, а только с начальником сержантом был самым приятным занятием. Помотавшись часик-другой по улицам поселка Северный возле Новосибирска, патруль быстро снимал повязки и валил по своим делам. Старички уже давно завели себе любушек в поселке, ну а молодые, начинающие службу, искали знакомств. И находили. Особенно пронырливым по этой части был младший сержант Степанов. Он-то и наткнулся на золотое дно – хлебозавод, который располагался приблизительно в двух километрах от поселка. Точнее, даже не на сам хлебозавод, а на его общежитие, где жили в небольшом доме несколько девчонок. И естественно, комендачи начали пастись на этом участке.

Но сегодня они вышли вместе с Дубравиным. А он, что ни говори, службист. От этого Степанов мялся и пожимался. Ему очень хотелось смыться к девчонкам, но он знал, что Дубравин, как добросовестный командир, конечно, не отпустит его. Пронырливый и хитрый, он решил этот вопрос по-другому. Предложил командиру:

– Товарищ сержант! Я знаю одно место, где пасутся военные строители. Вот уж там мы точно кого-нибудь задержим. Да не одного, целую пачку! Давай сходим!

– Давай! – простодушно согласился Дубравин.

Вообще-то те, кто служил давно, знали простую истину. Вокруг воинских частей или гарнизонов, несмотря на всю их закрытость, высокие заборы, часовых и прочие прелести солдатского жития, всегда возникают особые зоны, пограничные зоны, в которых живут женщины, жаждущие мужского внимания. Таких женщин все в части знали наперечет и такие места тоже знали наизусть. Какими-то тайными тропами, через забор, в увольнении солдаты, сержанты проникали туда, знакомились с ними, находили общий язык. Налаживался контакт, так сказать, к взаимному удовольствию. И что интересно, если контакт был хорошим, появлялась любовь-морковь. Частенько солдаты женились и забирали таких баб с собою домой. Если не женились, то передавали их своим сменщикам, следующим поколениям.

Вокруг этой части тоже было немало таких своеобразных вдов-невест. Вдов – потому что прежние хахали уезжали, а невест – потому что

появлялись новые поколения из молодого пополнения. Были такие бабы, которые уже отчаялись поймать солдата на замужество. И тогда они становились вечными вдовами-невестами – лет до тридцати – тридцати пяти. Пока не рожали от кого-нибудь детей. Но и тогда некоторые из них не оставляли надежды как-то устроить свою личную жизнь.

Другие постепенно запивались и опускались все ниже и ниже. Эти не принимали солдат у себя дома, а просто сами приходили на КПП или к забору в ожидании, что их покормят и трахнут.

Такие встречались и Дубравину. Как-то вдруг прибегает Шманок и кричит хрипло: «Там девчонки пришли к забору! Заигрывают». Действительно, когда Дубравин сам вышел на пост, он увидел двух подружек, которые робко жалась к забору и просили, чтобы вышел какой-то Ленья, с которым они якобы знакомы. Девки были, конечно, оторви и брось. Грязные, жалкие, в каких-то отрепьях. Конечно, никакого Лени в этот час нигде не было и не могло быть. Но Дубравин их пожалел и подкормил. Дал распоряжение, чтобы девкам выдали оставшейся от сержантского обеда каши и хлеба. Потом они, как сообщили ему позднее, еще несколько дней ходили к забору. К ним прилаживались солдатики...

Но самыми милыми солдатскому сердцу были, конечно, продавщицы, работницы общепита, воспитательницы детских садов и пр. Как однажды объяснил тому же Дубравину сержант Степанов:

– Они чистые. Их каждые три месяца проверяют!

Это было важно. Но кроме того, были и меркантильные соображения. Так, девчонки с хлебозавода подкармливали солдат. А что может быть вкуснее буханки только что испеченного свежего хлеба? Делали на хлебозаводе и печенье. А для его производства нужна лимонная или апельсиновая эссенция, настоящая на спирту. То есть там можно было не только пожрать, но и выпить.

И когда в солдатском сортире пахло лимонами и апельсинами, Дубравин знал: его люди были в патруле. Охраняли богатое, «рыбное» место.

Так, где-то минут через сорок ненапряженной ходьбы наш патруль уже оказался у дверей двухэтажного небольшого общежития.

Сергея Степанов, розовощекий, ладненький, лаковый, как плюшевый мишка, тихонько постучал в дверь:

– Наверное, спят после ночной смены?

Через минуту за дверь послышался какой-то шорох, выглянула чистенькая девочка в коротеньком халатике.

– Ой! – проговорила она, увидев весь их бравый наряд.

Еще минут пять шорохов и недовольного бормотания, и дверь приоткрылась.

– Заходите! – приглушенным голосом прошептала девчушка.

И они оказались в довольно большой, обставленной казенной мебелью прихожей. Серега церемонно представил Дубравина. Сам он, видать, был здесь завсегдаем.

– Наш сержант Александр Дубравин!

Дубравин церемонно, как учили в романах, чмокнул ручку, чем привел веселую девицу с кудельками в полное и неопишное смущение. Она что-то пробормотала, засуетилась. Стала подниматься по лестнице. При этом они, стоявшие снизу, увидели, как мелькнули беленькие трусики под ее коротенькой юбочкой.

– Проходите!

Они, грохоча своими кирзовыми сапогами, поднялись вслед за нею наверх и оказались в чистенькой девичьей светелке, где стояли четыре металлические кровати. На кроватях сидели уже проснувшиеся девчонки и усиленно причесывались, пудрили носы, заглядывая в дешевенькие зеркальца.

Девчонки на хлебозаводе в основном из близлежащих деревень. Хорошие, симпатичные, простые русские девчонки. Добрые, душевные, отзывчивые, любящие. А чего еще солдату надо-то?

В общем, полная идиллия. Ребята расселись за стол у окна на табуретки. И пошел разговор бестолковый, веселый, поддерживаемый в основном Серегой. Дубравин же набычился и от этого казался важным.

Через полчаса одна из девчонок куда-то сбегала, и на столе появились две чудесные, свежайшие, только что из формы белые буханки хлеба, несколько пачек печенья, конфеты и, самое главное, бутылка апельсиновой эссенции.

Уж кто-кто, а женщины знают, как привлечь ребят.

У Дубравина от всей этой роскоши потекли слюнки. Он, конечно, отнекивался, поглядывал в окно общежития, не идут ли сюда нарушители, самоходчики из части. Но никаких самоходчиков не было и в помине.

В конце концов он понял, что хитрый Степанов разыграл всю эту комедию для того, чтобы повидаться со своей любушкой. Но отступить было поздно. Он уже попался на удочку. А тут было так тепло, уютно. Рядом были симпатичные, добрые девчонки. Они подливали чайку и то касались как бы невзначай его руки, то, ласково заглядывая ему в глаза, спрашивали, откуда он родом, есть ли у него девушка, ждет ли она его. И явно ожидая отрицательного ответа, рассчитывали свои шансы на

перспективу.

Короче, размяк он, расслабился, замурылкал. И... пошло-поехало. С того раза.

Раз зашли. Другой. А тут девчонки стали передавать ему приветы. То Степанов принесет привет от Люси. То Блуашвили, придя из ночного дозора, вспомнит, что о нем спрашивали. Но Дубравин старался держаться. Ему казалось, все, что происходит здесь, в армии, все эти наметившиеся романы и романчики между девчонками с хлебозавода и его подчиненными, все это дело временное, пустяковое, никак не касающееся главной, самой важной любви. Там, на гражданке, была любовь вечная и прекрасная, а здесь все это было ненастоящее, временное.

Изо всех сил старался он сохранить в сердце эту любовь, ее идеальный несмываемый образ. Но шли недели за неделями, месяцы за месяцами, и он уже плохо представлял себе, как она может выглядеть, как живет, о чем думает.

Все в их отношениях снова становилось зыбко и непонятно.

Неожиданно ему пришло письмо от старых школьных друзей. Оказывается, они помнили его. И судя по всему, глубоко сожалели о том, что случилось. Письмо было написано Вовулей Озеровым. В нем он старательно избегал грустных воспоминаний о той глупой ситуации, из-за которой они тогда рассыпались.

«Шурик, здравствуй!

Сегодня, восемнадцатого февраля, мы собрались вечером у Андрея Франка и решили тебе написать письмо. Сейчас мы сидим в комнате, тихо играет магнитофон, твое фото лежит перед нами и, конечно, навеивает грустные воспоминания. Просим извинения, что не писали, сам понимаешь, что времени мало, да и другие обстоятельства мешали. В общем, кто старое помянет, тому глаз вон.

В общем, наша дружба не прекращается, ведь мы дружили не год и не два. Это у девочек происходит все стихийно. В общем, ты поймешь все.

Ну, ты знаешь, где кто из нас устроился, так что объяснять не надо. Я хожу на штангу, а Толян на бокс. Андрей занимается гимнастикой. А ты, говорят, продолжаешь заниматься борьбой. Это хорошо. Да, ребят наших тоже гребут в армию. Только Сасина (Комарика) уже побрили, скоро пить будем. Сейчас ребята смотрят фотки, вспоминают все походы, общество «Лотос» и сознают, как сильно мы повзрослели.

Я недавно пришел из похода. Был в горах, брал вершину Ак-Кая, уже облазил половину Алатау. Могу похвастаться: скоро поедем на Кавказ, на Эльбрус.

Да, как там насчет друзей?

Будь проклят тот день, когда ты уехал в Алма-Ату. Я, конечно, извинился за нас, но Толюня на тебя обижен. В прошлом августе мы устроили вечеринку школьных друзей. Были почти все наши девицы. Я как-то заглянул в окно комнаты и слышал, как он спорил с Крыловой о тебе. Но все, что он говорил, она парировала тем, что ты ей пишешь, а нам нет. Значит, мы не были для тебя настоящими друзьями. Тольке тогда туго пришлось, он чуть не плакал от обиды.

Ну, Сашок, мы закругляемся. С большим нетерпением ждем от тебя письма и тебя самого.

До свидания.

Андрей Ф.

Толик К.

Вовуля О.»

Дубравин отложил это бесхитростное письмо в сторону. Так снова повеяло на него домом. Тем миром, тем раем, где они когда-то жили все вместе. Но они были там, а он здесь, в армии. И надо было как-то жить-поживать и выживать в этом реальном и для него очень сложном мире. Таким сложном, что не дай Бог. Были случаи, когда он оказывался и на грани. Однажды такое дело приключилось в том же общежитии, куда, судя по всему, захаживали и гражданские парни из близлежащих рабочих поселков. Разные среди них были. И хорошие, и негодяи, и подонки, и алкоголики. А особенно много разного рода прибалтненных с ножом в кармане и ясно очерченным будущим, которое выражается одним словом, будто написанным у них на лбу: «Тюрьма».

Девчонки это понимали. Если Дубравина и его солдатиков они встречали с распростертыми объятиями, чаепитиями и постоянной готовностью завести интрижку, а если получится, и роман, то шпану не любили. А это, естественно, шпане не нравилось. Но голод не тетка. Шакалы продолжали бродить вокруг в надежде, что и им перепадет. Вот в один из заходов Дубравин и встретил такого шакала. Гена – парень тертый, высокий, гибкий, прибалтненный, со стеклянными глазами и мерзким наглым лицом. Есть такие типы, глянешь на него – и сразу ясно, что перед тобой наркоман, негодяй и подонок. Дубравин попал в середину дискуссии. Гена, развалившись, сидел у окна на стуле и гавкался с девками, сидевшими в разных углах комнаты. Одна из них, Марина, наиболее бойкая и шустрая из всей комнаты, перебирая семечки и выплевывая их, говорила, переругиваясь:

– Да че с тобой разговаривать! Катился бы ты отсюда. Тебя никто не

звал!

В ответ Гена, «оскорбленный до глубины души», отвечал:

– Да вы все тут проститутки! Вам лишь бы трахнуть с кем-нибудь!

Увидев Дубравина, девчонки зашумели:

– Саша, что он нас оскорбляет? Пришел, расселся тут. Мы его гоним, а он ругается!

Дубравин, как крутой мен, тоже был не в восторге от этой встречи. Приходишь к подругам вроде поболтать, отдохнуть душой, а встречаешь какого-то самца, явно уголовного типа. Приходилось искать выход. Выход для мужчин в таких ситуациях был всегда один и тот же. В зависимости от исторического времени и господствующих нравов. В данном случае он предложил Гене:

– Ну, давай выйдем поговорим!

– Давай! – не испугался бандит.

И вот тут Дубравин совершил ошибку. Вместо того чтобы спуститься вниз на улицу и там разобраться с хамлом, он вышел из комнаты на узенький балкончик. Гена вслед за ним. Прикрыл дверь.

Дубравин, резкий и решительный от природы, сразу начал разговор в том духе, что, если бы засранец Гена служил у него во взводе, он бы научил его правильно вести себя с женщинами, а тем более с девушками.

На что Гена ответил, что видел таких учителей на х..., и опустил руку в карман куртки, где у него всегда лежала наготове финка. Увы! И ах! Дубравин, который уже примеривался, как он сейчас схватит Гену за шиворот и метнет с балкона, понял, что все пойдет совсем по другому сценарию. Сейчас из кармана блеснет лезвие ножа, а на таком удельном пространстве балкона ни отбить удар, ни уйти от него невозможно. Его просто пырнут в живот или в грудь. Зарежут, как свинью на бойне.

Сердце упало в пятки. Липкий страх охватил его. Он собирался сказать что-то вроде «Ах ты негодяй! Подонок!». А язык уже выговаривал сам на полтона ниже:

– Ты знаешь, меня твои отношения с девчонками здешними не интересуют. Вы можете лаяться сколько хотите. Но без меня. А когда я здесь, я тебе не позволю так говорить.

– Да кто ты такой? – Гена шестым чувством понял, что сержант «сдулся». Но судя по всему, в его планы тоже не входило убивать ни с того ни с сего. – Што хочу, то и говорю. Нихто мне не указ!

Поцапались они так еще минут пять. Но до драки не дошло. Вернулись в комнату. Вроде бы договорившись вести дела прилично. Но ровно через минуту гонор у обоих взял верх.

– Ну что, коровы, думаете, вас кто-нибудь защитит? Да я в гробе видел всех.

Короче, пикировка началась сначала.

Дубравин сидел, слушал. И ему было стыдно за свой страх. А этот стыд породил гнев. Но не тот безрассудный, который толкнул его на балкон. В голове появился расчет. «Надо, чтобы мы спустились во двор. И тогда я с ним там и разделаюсь», – думал он, пока Гена изгалялся над девчонками, выворачивая свое мерзкое нутро.

Он принял-таки решение. Молча встал и начал спускаться по лестнице вниз. И уже там как-то так спокойно, буднично произнес в напряженной тишине:

– Видно, ты, паря, ничего не понял! Ну, давай выйдем еще раз...

Он ожидал Гену во дворе, теперь уже готовый идти с голыми руками на нож. Но он был еще мальчишкой, который привык биться по-честному. А тут столкнулся совсем с другим. Гена спустился вниз. Понял, что к чему. И вдруг быстро, неожиданно схватил доску, лежавшую у забора, и, размахнувшись, ударил Дубравина, целясь ребром доски в голову, чтобы раскроить череп. Александр не успел даже поднять руки для защиты. К счастью, бандит промахнулся и удар пришелся не в голову, а, скользнув по околышку фуражки, сбил ее и, ободрав шею за ухом, пришелся в плечо.

Взыграло ретивое. Теперь уже не думая о правильности или неправильности такого поступка, Дубравин схватил валявшийся рядом кол и ринулся на врага. Но Гена быстро отскочил в сторону и кинулся бежать.

Сержант Дубравин гнался за ним изо всех сил. Но куда там! В своих кирзовых сапожищах, в мундире, с ремнем, с колом в руках, хоть он и был неплохим бегуном, но догнать легкого Гену, конечно, не мог. Метров через двести он это понял. Швырнул кол на землю. И, плюнув, гордо удалился восвояси.

Он никогда ничего не боялся до этого. И ему было ужасно стыдно за тот страх, который он испытал перед этим. Поэтому он даже не пошел наверх к девчонкам, чтобы гордо рапортовать об изгнании врага. Просто потопал обратно в часть, с горечью думая о происшедшем.

Он совсем не хотел понимать того, что страх, взявшийся непонятно откуда, спас ему жизнь. Что в данном случае его ангел-хранитель сохранил его для чего-то важного, большего. Ничего этого он, конечно, не понимал. Его гордость, его самолюбие были уязвлены. И в конце концов, прокручивая раз за разом эту сцену, он вместо того, чтобы прийти к выводу: «Надо бы быть осторожнее, не лезть на рожон!», к которому, вероятнее всего, и должен прийти здравомыслящий человек, пришел к

другому, парадоксальному: «А, черт с ним! Пусть уж лучше убьют тут, чем потом всю жизнь сгорать со стыда перед самим собою».

IX

Ах, не одна Галинка сторожила каждый стук.

Вчера. И смех. И грех. Людка возвращалась из библиотеки. Задержалась на пару часов. Подходит к дому. Навстречу сестренка Алка. Говорит:

– Отгадай, кто к тебе приехал?

Людка:

– Девчонка?!

– А вот и нет! Мальчишка, военный!

«Он», – екнуло сердце. Упало куда-то вниз. Глубоко.

Рванула: скорее, скорее. По лестнице птицей взлетела. Да пролетела. Вместо третьего этажа на четвертый. Стучится. А дверь открывает... круглолицая, с румянцем во всю щеку, зеленоглазая, белоногая.

– Валя? Сибирятко? Ты!

– Я!

– Ой, дурно мне! А Дубравин где? Мне сказали, он приехал!

– Да никого здесь нет и не было.

– Ха, ха, ха!

Она хохотала над собою целый час.

«Господи! Ну и дела. Не представляю, что будет, если он и в самом деле приедет. Я просто умру».

Но кто же приходил? Оказывается, приходил, как позже выяснилось, Андрей Франк. Он шел с занятий на военной кафедре. А там они ходили в форме, но только без погон. Вот сестренка и подумала, что он настоящий военный.

Так себе история. Франк частенько заходил к ней. Поговорить, чайку попить, пожаловаться на судьбу. Он, как уверял, любил Галинку Озерову. Любил безнадежно, сколько помнил себя. Собственно, вся эта история с бойкотом началась тогда из-за него. Он сам рассчитывал провести выпускной вечер с Озеровой. Но получилось по-другому. Вечная история. А у мальчишек так бывает: вроде как я заявил свои права на девчонку, а другие уже не подходят. «Она моя!» Хотя никакая она не твоя. Она вообще ничья. Никому не принадлежит. Так. Сама по себе живет на свете.

В последнее время у них с красавицей Людмилой даже установился своеобразный симбиоз, в котором каждый преследовал свои цели. Крылова сводила подругу с Андреем. Приглашала его на совместные вечеринки,

какие-то прогулки в надежде: «А вдруг клюнет! Вдруг ей надоест ждать Дубравина. Эка, сколько времени прошло. А она ни рыба ни мясо. Вдруг разочаруется? А тут Андрей. Верный, ждущий. А самое главное – он всегда рядом. Женщине нужно тепло. И чтобы милый рядом. Вот и расстроится их роман».

В последнее время она с радостью замечала, что подруга постоянно грустит, частенько находится в депрессии. И даже, как она поняла, перестала отвечать на письма Дубравина. «Еще чуть-чуть! – думала она. – И все рассыплется. А тут, глядишь, и Андрей понадобится...»

Несколько дней тому назад она попыталась даже забить клин в эту парочку. В своих многословных длинных письмах, рассказывающих о своей жизни. (Научилась писать их для него. Чему только женщина не научится, если захочет заполучить мужчину!) Она прямым текстом, не стесняясь, отписала ему: «Она неплохая. Хорошая девушка. Но она недостойна тебя!». И теперь ждала с надеждой ответа. Или его приезда.

Для Франка она тоже была находкой. Сколько он ни приглашал Галку то в кино, то на какую-нибудь вечеринку, она постоянно как-то уходила в сторону, объясняя это занятостью, нездоровьем или просто говорила: «Нет настроения!». Она не отказывалась с ним общаться вообще. Видно было, что она жалеет его, старается не оскорблять его чувств.

Но когда на горизонте показывалась Люда Крылова, ситуация менялась. Она, видно, не хотела оставаться с ним вдвоем. А втроем – пожалуйста. Бывало, что к ним присоединялся кто-нибудь из Людкиных поклонников. А их у нее была тьма-тьмущая. В таких случаях вообще все выглядело чин-чинарем, благопристойно. Людка умела остановить порывы ухажеров ледяным взглядом, насмешливой улыбкой, кольнуть их шуточкой. Красавица королева, она и вела себя как королева. За эти годы она тоже изменилась. Выросла, округлилась, налилась, оформилась в женщину убивающей наповал красоты. Высокая, стройная, как фотомоделль, она ничем не напоминала из себя вешалку для одежды. У нее была налитая, великолепно сформированная грудь, которая даже не нуждалась в лифчике – так твердо стояла. Тонюсенькая талия, плавно переходящая в широкие бедра. Чуть курносый носик на круглом лице и свои, незаемные, длинные, кудрявые светлые волосы.

Те из мужчин, кто примерялся к ней и понимал, что она ему не по плечу, ненавидели ее. Те, что постарше, поспокойнее, любовались ею, как редким, дорогим цветком. Ну а кто пытал счастья в ухаживаниях, терялся перед ее холодностью и опускал через некоторое время руки.

Да-а! Красота – страшная сила! Женщины – те вообще сатанели от нее,

чувствуя в ней беспощадную соперницу. Об их реакции рассказывает один случай, произошедший с нею не так давно. Звали его Муля. Ну, потому, что он был местный хулиган. Увидел ее. И стал под окнами общаги торчать. И ходит. И ходит. Девчонки Людмилу предупреждали:

– Ты берегись. Не связывайся с ним. За ним тут Валюня, старшая местная девица, ухлестывает. Он с ней гулял. А теперь чего-то охладел. Она бешеная.

Людка смеялась:

– Да нужен он мне!

Но видно, нравилось ей свою власть над мужиками показывать.

И вот однажды идут Муля с Валюшей. Помирились, что ли? Муля увидел Людку и говорит Валюше:

– Подожди, я поговорю!

Долго они говорили с Мулей. А Валюня ждала. И два раза подходила к Муле. Спрашивала, скоро ли он. Муля отмахивался от нее, как от назойливой мухи:

– Счас! Подожди.

Не выдержала такого Валюня. Наехала на Людку:

– Ну, ты че, курва, моего кадра держишь?

– Да пошла ты, пустышка.

Людка тоже за словом в карман не лезет.

– Ну, смотри, будешь ты у меня пятый угол искать.

Вечером собрались в общежитии девчонки из группы пить чай. Сидят, пьют. Болтают о мужиках. Прибегает Валя Сибирятко.

– Люда, тебя ищет Валюня!

– А что, – предложила Зинка Косорукова, – дадим им бой!

Выскочили на улицу, а там четыре девицы-переростка лет под двадцать.

Выступает прибалтневая, нафуфыренная Валюня:

– Крылова, иди сюда! Поговорим!

Людка смелая. Шагнула. А она, как коршун, бросилась.

И понеслось. Визг. Истерика. Как кошки царапаются. Орут:

– Сука! Сучка! Будешь знать, как мужиков приваживать! Я тебе волосенки повыдергиваю!

Разъяренных девиц растащили. Крылова растрепанная от такой атаки. Валюню держат. Она орет, в руках чужой платок:

– Не жить тебе, Люда! Или калеккой будешь! Иди сюда, что же ты прячешься за чужие спины? Боишься? А моего парня уводить не боялась?

А Людка ей:

– Ты давай не физически, а морально!

В общем, и смех и грех.

А жила она на самом деле ожиданием. Но жила не скучно. Хотела быть достойной его. Предстать во всем блеске. Уже забыт, позаброшен кружок альпинизма. Теперь у нее новое увлечение – парашют.

Прыгали из старенького Ан-2. По-нашему – кукурузника. Собирались тщательно. Несколько дней в аэроклубе изучали парашют. Как приземляться, как падать на бок, как управлять парашютом в полете. И вот настал этот день. Она спала и не спала всю ночь. С утра, росного, прохладного утра, она уже была на месте, ждала полетов. Тихо так на аэродроме. Стоят в ряд зеленые кукурузники с номерами на борту. Поникли головки цветов. Роса смачивает ботинки, слезинками собирается, конденсируется на зеленой обшивке игрушечного самолетика.

Их группа в составе десяти человек должна была прыгать предпоследней. Они сидели молча на траве и наблюдали за тем, как одна за другою залезали в самолетик предыдущие группы. Гнулась трава, когда винты набирали обороты. Тарахтели, а потом и ревели двигатели. Кукурузники один за другим взлетали в небо. А потом от них отделялись черные полоски, и расцветали в голубом ясном небе невиданные цветы-ромашки. Ну, вот пришла и их очередь. Загрузились. Пять человек сели на жесткой скамейке с правой стороны. Пять – с левой. На каждом здоровенные ботинки на толстой подошве, закрытые шлемы, сзади – основной парашют, спереди – запасник. Сидят, нервно хихикают. Подшучивают друг над другом. Девчонок всего две.

Пошел, родимый. Задвигался.

Инструктор – хороший такой дядечка, усатый, веселый. Имеет на счету более четырехсот прыжков. Смотрит на них, улыбается. Смотрит на нее. Подходит. Людка уже привыкла к тому, что она всегда в центре внимания. Что-то говорит. Но моторы гудят, плохо слышно. И вдруг он заметил, что у нее что-то не в порядке с парашютом. Делает специальный знак: «Прыгать не будешь!».

«Господи! Да что ж я такая невезучая! Я же так хотела прыгнуть с парашютом. А тут...»

Но инструктор ее успокоил:

– Потом со следующей группой прыгнешь.

С горечью она наблюдала, как один за другим исчезали в проеме двери ее друзья. Как подхватывал ветер их купола.

Самолет приземлился. Все подбежали посмотреть, кто не прыгнул и почему. Ей надели новый парашют. Подогнали все ремни.

– На этот раз будешь первой! – сказал инструктор, сажая ее на скамеечку.

Чужая группа. Людка напряглась. Вот теперь ее уже бьет мандраж. Она мысленно начинает вспоминать, как ее учили, что-нибудь хорошее. Подумала о Шурке: «Этот прыжок я посвящаю тебе! Хочу, чтобы ты оценил мою смелость!». Сидит, улыбается. А улыбка такая, что инструктор Михаил Иванович подходит и спрашивает:

– Боишься?

– Нет, – отвечает она.

– Не бойся! – говорит он.

– Не боюсь, – отвечает она.

Мигает сигнал готовности.

Она встает. Подходит к открытой двери, как пьяная, поддерживая себя за поручни. Сердце колотится, как мотор самолета. Легкий толчок в спину. Ужас, летящий на крыльях! Прыгает. Летит, как с вышки в озеро. Только страшнее. Дух захватывает.

Динамический удар. Парашют раскрылся. И она сама не ожидала, как прорвалось ликование, облегчение в диком крике:

– Ура! А-а-а!

Не верится, что именно она сейчас над землей летит на парашюте. А внизу – игрушечные домики, аэродром, самолетики, трава.

Она запекает «Катюшу». Вспоминаются все ребята. Дубравин: «Любимый мой! Родной! Как же хорошо, Господи! Чудно!».

А земля уже стремительно приближается, набегаем навстречу. Она, как учили, ставит ноги вместе, падает на бочок на травку. Бегут навстречу мальчишки.

Она подняла палец кверху:

– Мальчишки! Во запомню как! Здорово! – и что-то еще лепечет от радости.

И только к вечеру, когда радость улеглась, она задумалась: «А если бы я прыгнула на пятьдесят третьем, забракованном? Что бы было? Он не раскрылся бы? Не растерялась бы я? Сумела бы открыть запасной? Не знаю! Прыгали ведь с высоты восьмисот метров. А может быть, я бы сейчас уже и неживая была бы?».

От такой перспективы холодеют руки и ноги. «А впрочем, я могу собою

гордиться. Ведь не струсил же. Не испугалась же! Молодец я! А он придет и скажет: «Молодец, Людочка!».

Вечером они встречались с Галинкой Озеровой. Если Людка жила в общежитии финансового техникума, то Галка жила на съемной квартире у одной старушки в частном домике.

В последнее время с Озеровой происходило что-то непонятное. Если раньше она жила легко, свободно и как-то светло и спокойно, то ныне словно кто-то непонятный как будто взял и закрыл эту страницу ее жизни.

Сегодня она встала в пять утра, чтобы попасть в бассейн. Бассейн находился за городом на территории санатория, в сосновом бору, где огромные вековые сосны смыкались в голубом небе. И вот они с подругой идут вместе по улице. А кругом еще темно-темно. Только за горою чуть-чуть светится. Пришли. Гулкий, пустой зал. И вот она – прозрачная голубая вода. Она ощущает себя целиком. Каждую клеточку тела омывает прохлада. Она пробуждает, будоражит и опьяняет. Ах, это пьянящее ощущение! С него и началось. Она почувствовала себя не просто маленьким человечком, девчонкой. Она вдруг ощутила, что ее тело живет своей особенной и непонятной ей самой жизнью. Как будто вдруг ни с того ни с сего она округлилась, налилась, словно яблочко наливное. Расцвела. И тело, безраздельно принадлежавшее ей, молчаливое доселе, покорно исполнявшее любую работу, вдруг стало жить какой-то непонятной своей жизнью.

Уже не раз она просыпалась по ночам от горячечных, безжалостных снов, чувствуя в себе томительное желание. Тепла, ласки. Желание прижаться к такому же горячему, ждущему телу, ощутить на себе ищущие, добрые руки. И где-то, где-то глубоко внутри, в сознании, в подкорке, о чем она и не подозревала никогда, забилося, запульсировало желание. Иметь ребенка. Заработала генетическая, наработанная сотнями миллионов лет эволюции программа. Продолжение рода. Программа, которую женщина должна выполнить и выполняет, рискуя собственной жизнью, здоровьем. Основная программа, ради которой, собственно, они и приходят в этот мир.

Но чтобы выполнить ее, нужен еще один человек. Мужчина. Реализовать ее без ущерба можно только с ним. Любящим и любимым. И вот теперь, когда все это происходит с нею, когда эта бесконечная разлука

вот-вот должна была кончиться, на нее напала какая-то дикая тоска и депрессия. Ей вдруг ни с того ни с сего становилось грустно и печально. Какое-нибудь незначительное происшествие или событие служило поводом для слез и долгих-долгих охов и вздохов.

Она уже забыла его. Только ощущала, что где-то там, далеко-далеко, есть человек, с которым ей тепло и уютно. Что вот откуда-то издалека к ней попадают на стол белые листочки, напитанные теплом его сердца и души. И только эти белые листочки иногда, изредка развеивают тот сумрак, который расставание и неизведанное будущее накладывали на душу. Бывало так, что письма от него все шли и шли. Накапливалось их два-три, четыре-пять. А она все никак не могла собраться с духом, чтобы ответить. Потому что эта любовь стала для нее каким-то наваждением, мечтой. И она уже не могла отделаться от ощущения и мысли, что он едет рядом с нею в автобусе, опаздывает на занятия. Он был рядом с нею во сне и наяву. Иногда ей казалось, что она сходит с ума. А иногда просто чудилось, что это все весна, самовнушение. И тогда она думала про себя: «Ну и пусть. Я счастлива от того, что не могу спать по ночам и думать, что мне грустно. Что хочется плакать. Ведь ты все равно придешь ко мне. Я люблю. Остальное все чепуха и выдумка. Мне бы только увидеть его, хоть мельком. И опять буду ждать. Я сильная».

А на улице пахнет небом и лесом. Ночь. Печальная тишина. Грустная песня. Все слилось воедино. В какую-то щемящую мелодию жизни.

«Господи, какая я была глупая девчонка. Тогда, когда он ждал меня вот на этом самом месте. Нашем месте».

Пришедшая Людка оторвала ее от печальных и одновременно волнующих душу размышлений.

Как всегда, с ее приходом будто что-то изменилось в самом воздухе ее комнаты. Как будто он вдруг ни с того ни с сего напитался каким-то напряжением, каким-то статическим электричеством. И запах. Запах духов. Восточный, пряный. Сама Галка пользовалась прозрачными, цветочными духами. «Ландыш серебристый». А здесь от Людки тянуло чем-то таинственным, возбуждающим, женским. Галинка, глядя на нее, такую красивую, пахнущую, сияющую, даже позавидовала: «Да, Люду ни один парень не обойдет стороной. Такую не обойдешь. И какая она все-таки независимая, яркая». А Людка уже деятельно возилась с чайником,

встряхая кудряшками, доставала привезенный с собою торт.

– Галка, пировать будем!

За сладким чаем сладкий разговор. О любви. Женские маленькие тайны. Кто в кого влюбился. Кто с кем встречается.

– Сасин Толик женится. И Коля Рябуха тоже.

Девчонки влюбляются, гуляют, рассказывают, счастливые и смущенные. И почти шепотом о сладком, о женском:

– Знаешь, у нас в техникуме Лебедева на прошлой неделе вышла замуж. Они в соседней комнате ночевали после свадьбы. Она так кричала, так кричала! Мы с девчонками перепугались до смерти.

– Ой, это ж, наверное, больно.

– Утром она вышла в душевую. Вся так и светится. Понимаешь?

– Счастливая...

– А Саша что пишет?

– Вот-вот должен прийти. Я уже все ночи не сплю. Каждый стук сторожу.

Через несколько минут в комнату неожиданно постучали. И еще через секунду на пороге показался (кто бы вы думали?) нежданный, негаданный Андрей Франк. И как всегда, с цветами. И с тортиком. Вот уж они смеялись, когда увидели его треугольное личико в проеме двери.

Обрадованная Людка даже непроизвольно вскрикнула, увидев его:

– Ну, ты, Андрей, даешь! Ты что, мысли читаешь, что ли?

– Просто шел с собрания из одной компании и решил заскочить.

– С какого собрания? – заинтересованная Людка подбоченилась, стала в позу. – Так ты, значит, не стремился к нам? Не вздыхал, не томился? А так, по пути решил зайти. Да? Между делом?

Ей ясно было, ради кого Андрей ходит сюда, но хотелось подурачиться, пошутить, поиграть, как кошка играет с мышкой.

Андрей игры не принял. Ему как-то не хотелось заниматься словесной пикировкой с Людкой, потому что он только что вернулся с такого важного и значимого собрания, на которое его пригласили новые немецкие друзья. Это были те люди, которые ему нужны. А потому обсуждать это важное в его жизни событие даже с Людкой он не хотел. Еще бы! Уже год, как он перевелся из целиноградского пединститута сюда, в Усть-Каменогорск. Причин этому он нашел немало. Во-первых, поближе к родителям, к дому.

Во-вторых, здесь, в Усть-Каменогорске, он стал штатным фотокорреспондентом газеты «Freundschaft». Тогда в Целинограде их отношения с фотокором Лео Вайдманом были просто прекрасными. Они встретились в пивной на окраине города, выпили пивка, и Лео взял его под свое покровительство. Первый год они сотрудничали таким образом. Если Лео не успевал где-то что-то снять, какое-либо важное событие, местную сенсацию (праздник первого урожая или пуск нового элеватора), то он перепоручал это задание Андрею. И тот его делал. Толстопузый Лео только нахваливал своего студента-ученика. И все вроде бы было хорошо до поры до времени. Но потом на редакционных планерках раз за разом стали отмечать, что снимки Андрея Франка более живые, более качественные, чем снимки штатного фотокора Лео Вайдмана. Лео обиделся. Заказы от него прекратились. А с ними и гонорары. Но шила в мешке не утаишь. В такой ситуации Андрей сам пришел в редакцию к ответственному секретарю. Тот страшно обрадовался, напоил его чаем и дал задание напрямую, минуя Лео. Ох, какой тут был скандал! Ах, какой тут был скандал!

Ну, в общем, завязалась длительная, изнурительная борьба за место под солнцем и за неплохие гонорары газеты «Freundschaft», что в переводе с немецкого значит «дружба». В итоге «дружбаны» не разговаривали пять месяцев. И тогда тот же самый ответственный секретарь Виктор Онгемах предложил Андрею:

– Слушай, что вы с ним делите эту Целиноградскую область? Ты же ведь студент. Из Усть-Каменогорска. Переведись в тамошний пединститут – тебе какая разница, где учиться? И начинай оттуда работать уже как наш штатный корреспондент. А там поработаешь год-два, себя зарекомендуешь, и мы тебя в штат возьмем. Собкором. С окладом сто двадцать пять рублей. Плюс гонорары.

Андрей подумал-подумал и согласился. Но вряд ли кто догадывался еще об одной, может быть главной, причине его согласия. Он переезжал в Усть-Каменогорск, чтобы быть рядом с нею. С Галиной Озеровой. Все было не в счет. И то, что у них с Дубравиным вроде бы роман. И то, что уже годы прошли. Как только появилась такая возможность, ему сразу вспомнилось все. «Школьные годы чудесные... Как они быстро летят. Их не воротить назад...» В общем, он решил их вернуть. Только оказалось, что мечтать намного легче, чем исполнить. Все вроде бы началось неплохо. Приехал. Встретились. Обрадовалась. Но как-то сама собою сразу установилась опять та же самая невидимая миру стеклянная стена, через которую он никак не мог приблизиться к своей любимой. Хорошо, что

Людка была здесь, рядом. Она помогала находить общий язык. Так что втроем они были почти всегда. Ходили гулять, в кино. Людке он и жаловался на свою трудную долю. Она его и утешала, обнадеживала, иногда даже придумывая за Озерову какие-то слова, лестные для него. Какой он хороший друг. Какой талантливый. Так и жили они втроем, каждый со своими страхами и надеждами.

Между делом Андрей в прошлую зиму очень неплохо сошелся с новыми, интересными для него людьми. Как-то так незаметно у них образовался этакий немецкий кружок. Они собирались то у кого-нибудь на дому, то где-то в кафе или ресторанчике, то в каком-нибудь доме отдыха, открытом на пару дней. Было их человек восемь – десять разновозрастных, разных по социальному положению, по образованию. И Андрей Франк был самым молодым из них. Велись разные разговорчики. Если честно сказать, предательские разговорчики. Благо в последние годы с этим делом – поговорить – стало проще. Люди постарше вздыхали, вспоминали молодость. Проклинали осторожно Сталина, который закинул их в эти дикие казахские степи из родного Поволжья.

– Да если бы нам дали такую возможность, – вздыхали они, – то немцы бы себя проявили.

– Мы бы взяли какой-нибудь район. Отстроили бы все как надо, – говорил учитель Валерий Литке. Ему вторил одношкольник Франка, тоже перебравшийся на учебу сюда, в Усть-Каменогорск, Федя Богер. Так в этих долгих чаепитиях и разговорах постепенно и вызревала идея. Идея о создании немецкой автономии в Казахстане.

Так и жили. С одной стороны, любовь, институт, движение по накатанной за десятилетия колее, а с другой – мечты о какой-то другой, своей, особой, отличной от советской жизни. И не только мечтали. Потихонечку объединялись в какие-то свои немецкие кружки. Изучали язык, пели песни. Девушки старались приготовить какие-то национальные блюда. А если уж играли свадьбу, то обязательно чтоб при всем при том был в ней свой, немецкий, пусть и небольшой, колорит. Хоть веночек, да бросит невеста подружкам.

И все чего-то ждали. Ждали перемен. Готовились к ним, хотя в последние годы правления Брежнева перемены происходили все реже и реже. Сказать точнее, это были даже не перемены, а просто объявления о них. Прошел, мол, пленум ЦК КПСС и объявил, что в стране наступили перемены.

Так что сегодня он просто пил чай с девушками. Потом пошли гулять. И по привычке Андрей, оказавшись посередине, взял обеих подружек под

ручку. То-то, наверное, завидовали ему встречные ребята. А зря!

Х

Дубравин сидел у себя в караульном помещении и слушал по радиоприемнику музыку. Вдруг грохнула зеленая входная дверь, и в комнату влетел запыхавшийся и весь растрепанный круглолицый, толстенный младший сержант Дорофеев. Выпучив заплывшие глазки, он заорал не своим голосом:

– Там! На плацу! Драка! Чечены с барнаульцами мочатся! Рота на роту!

Дубравин как ошпаренный вскочил со стула. Кинулся в оружейку за карабином. Все, кто был свободен, а их было человек восемь, загрохотали сапожищами за ним. Каждая секунда дорога. Чтобы не обегать вокруг здания штаба, они открыли окно в комнате дежурного по части и стали выпрыгивать из него. На плацу, который находился прямо метрах в десяти, за деревьями и кустами, стоял гул и стук.

– За мной! – крикнул он ребятам петушиным, не своим голосом, отмыкая штык на скорострельном карабине Симонова. И, выскочив из кустов, из темноты на ярко освещенный плац, оказался прямо в самой гуще схватки. С одной стороны со швабрами, палками, лопатами в руках шла на врага десятая рота, в которой были молодые чеченцы. С другой подступали к ним, размахивая кольями, барнаульцы.

Дубравин вылетел на освещенное место, и тут же прямо на него, размахивая огромной, окованной металлом шваброй, налетел курчавый горбоносый чечен с усиками. Он уже готовился размахнуться и огреть Дубравина, но тот отскочил в сторону и с диким криком ярости быстро-быстро начал наступать на него, целясь штыком то в грудь, то в лицо, то в живот. Чечен отступил на несколько шагов, а потом бросил швабру с металлической рукоятью на асфальт и побежал. Остальные комендачи тоже не зевали. Они тоненькой цепочкой выстроились прямо в центре драки, как раз между враждующими сторонами. А затем, матерясь как сапожники, орудуя где штыком, где прикладом, стали живо наступать на возбужденную толпу, по которой уже разнесся слух, что «комендачи прилетели, счас начнут стрелять». И – о чудо! Бой продолжался ровно минуту, максимум полторы. И чечены, и барнаульцы стали бросать свои «орудия труда» и разбегаться в панике в разные стороны.

Мгновение – и на плацу остаются только несколько разгоряченных комендачей да лежащие на асфальте палки, лопаты, швабры. А кругом – пустота. Дравшиеся рота на роту солдатики-строители исчезли в кустах.

Дальше пошла разборка. Отцы-командиры хватали в казармах всех, кто участвовал в ледовом побоище, и тащили их в штаб, на губу. Уже через час она наполнилась так, что бойцам в ней размещаться можно было только стоя. То и дело в помещении КПЗ вспыхивали стычки. Поэтому вернувшийся с плаца с нарядом Дубравин приказал развести враждующих по разным камерам.

В общем, работы хватало. Гауптвахта, старая добрая губа, так и гудела, и трещала от множества грубых солдатских голосов.

Весь измотанный, к утру Дубравин забылся тяжелым сном, уткнувшись на нарах в замусоленный, затертый тюфяк.

Поспал он всего часа два. Затем его вызвал к себе начальник – майор Скатов. Дубравин плеснул ледяной водой из алюминиевого умывальника во дворе гауптвахты себе в лицо и пошел в штаб, который, кстати говоря, располагался в том же здании. Когда Дубравин браво вошел в кабинет и отрапортовался, Скатов выглядел слегка смущенным.

– Старший сержант Дубравин по вашему приказанию прибыл, товарищ майор!

Только сказав это, он заметил, что майор в кабинете не один. На сером из кожзаменителя диване, стоящем в углу, сидит майор медицинской службы Берестецкая. Но сегодня она не в своих обычных нарядах – зеленом кителе с погонями или белом халате. Сегодня она одета, как обычная женщина. В юбке, кофте, платке, чулочках. И всяких прочих вещах.

Про Берестецкую всякие разговоры ходили в их части. Стройная, словно девочка, подтянутая, спортивная, она вызывала много разных эмоций. Молоденькой лейтенанткой попала она в медсанчасть. И тогда немало нашлось желающих завести с ней шуры-муры. В том числе и среди начальства. Но девушка она была строгая. И все ухаживания офицерского состава отвергла с негодованием. Как ни странно, приглянулся ей сержант-срочник. Моложе ее на семь лет. Слюбилась она с чернявым молдаванином и окрутила его. Так и остался он после службы в Новосибирске, женившись на красавице медичке. Мало того, она его выучила, заставила закончить институт, нашла ему хорошую работу. В общем, это был интересный тип женщины. Феминистки не феминистки, но волевой, деловой, из тех, про кого на Руси говорили: «Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет». Как ни странно, счастье ее было достаточно долгим. Стараясь удержать мужа, который был моложе ее на много лет, она следила за собой. Диеты, массажи, курорты чередовались из года в год. Но в мире есть только одна женщина, от которой ни один мужчина не

уйдет никогда. Эта женщина – смерть. Вот она и увела у капитана Берестецкой ее Ийюню. Так что после смерти мужа кончики ее иссиня-черных волос покрыл иней. Накрыл и больше не растаял.

Все свои силы она вкладывала в сына. А мальчишка вырос балованный и капризный. В школе еле-еле телепался. Уж как она его ни уговаривала, а в институт поступать не захотел. Только и делал, что заявлял, будто он и так уже устал. Она все удивлялась: «Как же так он устал? От чего устал? Почему? Как можно такому молодому устать от жизни?». Работать пошел в театр. Рабочим сцены. И тогда-то в ее жизни наступил крошечный ад.

И вот теперь она сидит бледная, сложив руки на коленях, в черном платке, с отрешенным видом в кабинете у майора Скатова. И ждет старшего сержанта Дубравина.

Майору Скатову, коренастому лысому brunetu, затянутому в португую, человеку с едким противным характером службиста, неловко. Он слегка мнетя, а потом говорит Дубравину:

– Вот что, Александр. Тут у майора Берестецкой есть дело личного характера, с которым ты должен ей помочь. В общем, ты собирайся. Переоденься в парадную форму. Поедешь в командировку.

У Дубравина хватило ума спросить:

– А командировочные на билеты, проездные когда получу и где?

– Майор Берестецкая, – начал было бодрим тоном раскладывать Скатов, – тебе скажет.

И затем, обращаясь к ней, добавил:

– Амалия Иосифовна! Это старший сержант Дубравин. Он парень надежный во всех отношениях. Вам поможет.

Через полчаса они ехали в такси в новосибирский аэропорт. Еще через полтора могучий Ту-154 начинал разбег по взлетной полосе, а Дубравин уже знал историю гибели ее мальчика, как свою собственную. Единственный ребенок из обеспеченной семьи попал в компанию таких же, как и он сам, обеспеченных наркоманов.

– Его уже ничего не интересовало в этой жизни. В семнадцать лет появились друзья. Из хороших семей все. Собирались на квартирах, дачах. Вот у них какой-то Ленечка и предложил попробовать уколоться. «Один разок только!» – рассказывал он мне. Что я только не пережила. Я сама, сама давала ему деньги... А что делать? Когда твой ребенок приходит, становится на колени... и плачет. Задолжал он торговцам.

– А вы не могли как-то отвлечь его? – Дубравин, как ни странно, никогда не сталкивался с такой проблемой, которую сегодня подбросила ему жизнь. – Ну, нашли бы ему девушку. Парень-то он молодой. Всего

семнадцать...

– Какие девушки, Саша? Они их не интересуют.

– Ну, может, в армию надо было его сдать? У вас же такие возможности. В какую-нибудь часть, где порядки построже.

– Кто ж их возьмет в армию. Никто не хочет за них отвечать. Никому они не нужны. Потому что они за себя не отвечают...

Александр Дубравин за время службы много чего уже повидал. В прошлый призыв он ездил «покупателем» в Среднюю Азию, а если быть совсем точным, в Ферганскую долину. Везли они тогда целый эшелон узкоглазых узбеков. И это была песня! Узбеки ели всю дорогу жирный ароматный плов до тех пор, пока он не испортился. После чего сержанты повыбрасывали его из окон. А самое главное – почти у каждого из них в зашашнике были зелененькие твердые или липкие, как пластилин, кусочки гашиша. Узбеки не жрали водку, как русские призывники. Они забивали косячки и оттягивались с помощью плана. Они-то и привезли анашу в части. А потом с посылками пополняли ее запас. Правда, посылки, бывало, и проверяли особисты. Но тогда они приспособились получать их по-другому. Через местных.

Многие тогда стали покуривать. Так что, бывало, забредет он в роту по каким-нибудь делам к знакомому старшине, а тот сидит в каптерке с дружками и кумарит. Дым стоит такой, что хоть топор вешай. И запах, особый едкий запах анаши, или, как ее еще по-научному величают, марихуаны. Дубравин научился безошибочно отличать среди тех, кого притаскивали сержанты на губу, таких обкуренных – по их глупому хихиканью, стеклянным глазам и обжираловке. Как увидит в столовой бойца, навалившего в алюминиевую миску с краями овсяной каши, так сразу соображает: «Ну, значит, вчера в роте кумарили». Он и сам как-то попробовал. Но не понравилось. Да и не хотелось. Но это считалось не то чтобы в порядке вещей – просто офицеры как-то свыклись. Не очень вредно. Да и в основном узбеки смолят.

А вот такого, чтобы со шприцем баловались, он не слышал. Была пара бойцов, которые «колеса» глотали, но это считалось в армии западло. А тут мальчики и девочки из, по понятиям Дубравина, очень благополучных и богатеньких семей садились на иглу. Не-е, такого он еще не видел.

Но самым диким ему казалось не это. А то смирение, с которым принимала мать все происходящее. Как медик с огромным стажем, она с самого начала поняла, что у ее мальчика одна дорога – в могилу.

– А они долго не живут, Саша! – продолжала она свой рассказ. – Лет пять – самое большее. Вот и Гера как-то домой приходит, я у него

спрашиваю: «Как там Гриша?». А он мне отвечает: «Гриша умер вчера!».

Но он пытался бросить это. Как у них говорят, хотел слезть с иглы. Последние две недели не кололся. Говорил: «Мама, я смогу». Они с театром должны были уехать на гастроли. И он уже с ними не общался две недели. А я надеялась, что уедет он на месяц и вдруг порвет. Но я как чувствовала. На вокзал его провожать пришел этот их, бородатый такой. Он ему, наверное, и дал все...

Дубравин, потрясенный, слушал ее рассказ. Она не плакала. Не рыдала навзрыд. Только говорила. И он понял, что она уже все выплакала, вымучила.

– А я его для себя давно похоронила, – продолжала свою повесть майор Берестецкая. – Я все время ждала, ждала этого. И это самое тяжелое. И вот вчера позвонили. Что он лежит в поезде на верхней полке. Все думали, что он спит. А потом начали его будить. А он не просыпается. И не проснулся. И не проснется.

Она замолкла.

Александр из чувства деликатности не стал больше ее расспрашивать. Так они молчали до посадки в аэропорту Алма-Аты.

Странное дело. Только на привокзальной площади, куда они добрались от аэропорта, он вдруг понял, что находится в Алма-Ате. Городе, где он жил. Откуда его призвали в армию. Но радость только на мгновение сверкнула в его сознании. Мелькнула. И исчезла. Потому что по-настоящему ему было сейчас не до воспоминаний о красоте города, не до сестры и не до переживаний. У него задача одна. Добраться до станции Отар, где, по сообщению театральных, и находится тело мальчика.

Ведь когда покупали билеты, то исходили из посыла, что станция находится на территории Алма-Атинской области. А оказалось, что она намного ближе к городу Фрунзе, столице Киргизии, чем к Алма-Ате, столице Казахстана.

Несколько минут понадобилось Дубравину, чтобы прошвырнуться по железнодорожному вокзалу и понять, что ближайший поезд пойдет в эту сторону не скоро. Ближе к вечеру. А сейчас утро. Автобус тоже отпадал. Оставалось такси. Оставив майора Берестецкую на скамеечке перед вокзалом, он помчался к таксистам. Договариваться.

Таксисты ехать не хотели. Отнекивались.

– Смена кончается.

– Бензина нет.

– Я не могу!

Наконец один заикнулся о цене. В том смысле, что, мол, тебе это очень

дорого обойдется.

– Как дорого? – спросил Дубравин.

Вспотев от высказанной цифры, таксер сказал:

– Рублей семьдесят!

И тут впервые в своей жизни Дубравин ощутил, что такое сила денег. К ним подошла Берестецкая, и не успел он ответить, как она сказала:

– Кто поедет? Плачу!

И тут все эти таксеры – человек пять – наперебой загалдели, затрещали:

– Я поеду!

– Я!

– Я!

– У меня машина новая, посмотрите!

Растерявшийся Дубравин не знал, кому отдать предпочтение. Уж слишком неожиданным для него был такой поворот событий. Поэтому он просто кивнул наиболее симпатичному русскому широкоплечему парню. И тот – быстрее, быстрее, пока клиенты не передумали, а конкуренты не снизили цену, – повел их к своей машине.

Дубравин так и не разглядел в этот раз своей любимой Алма-Аты. Потому что сразу от вокзала шофер свернул на Ташкентскую, и светлая «Волга» с шашечками помчалась по широкой, обсаженной деревьями трассе, ведущей в сторону Киргизии.

Промелькнули ряды зеленых деревьев. Промчались они, как черный вихрь, мимо сине-белого поста ГАИ. И потянулась серая степь. Он опять почти через два года увидел слева на горизонте свои любимые холмы и горы. «Как застывшее море», – снова, как когда-то, подумал он, вглядываясь в бесконечные гигантские волны. Только сейчас, вырвавшись из части, из круговерти повседневного существования, из всех этих бесконечных караулов, патрулирований, отношений с начальством, вдохнув глоток природы и свободы, он понял, что ему уже не хочется быть профессиональным военным. И хотя ему еще осталось служить как «медному котелку», он уже ощутил, что армия – это уже прошлое. Что она, как шелуха, сползает с него вместе с каждым километром, на которые удаляется их таксомотор. Уже не хотелось возвращаться в тот мир, который он покинул. А вдруг остро-остро захотелось сейчас затеряться в этой бескрайней степи. И чтоб никто и никогда не мог его уже найти.

Он размечтался. И стал даже искать взглядом прибежище, в котором мог бы остаться. Но зацепиться глазу было не за что. Вот пасущаяся лошадь. А на спине у нее сидит какая-то птица. Лошадь начинает двигаться, и птица перелетает вслед за ней с места на место. Вдалеке видна

серая, как и сгоревшая степь, крутобокая юрта. Возле нее грудится отара овец.

И снова на десятки километров голое, просматриваемое и простреливаемое ветрами пространство.

Ехали они долго. Во всяком случае, больше времени, чем предполагали. Станция Отар – это облупившийся вокзальчик с унылой, затянутой решеткой кассой, несколько погрызенных непогодой домиков. Едкий запах от промасленных шпал, мусор по обочинам дороги. Стальные, уходящие за горизонт рельсы.

Нашли начальника станции.

Затюканный жизнью, тощий, дочерна загорелый, усатый начальник-казах в форменной синей куртке и почему-то в сапогах к ним отнесся достаточно любезно.

– А, этого мальчишку ищете? А его здесь нет, – как о живом сказал он. – Его отправили во Фрунзе. Так что вы зря сюда приехали. Утром отправили. Здесь же морга нет. Хранить негде. Вам надо ехать во Фрунзе.

– Ну дела! – почесал затылок Дубравин. – Значит, зря деньги потратили на такси. Лететь надо было сразу в Киргизию.

Посоветовавшись, они решили. Дело идет к вечеру. Огромное пылающее солнце уже легло на рельсы. Поэтому ночевать надо здесь. А завтра с утра пораньше доехать до Фрунзе. И уже там решать все проблемы.

К счастью, в станционном домике была пара комнатушек для приезжих. Что-то вроде гостиницы. Перекусив булкой с чаем, Дубравин лег спать. Но не спалось ему. Почему-то все время вспоминался рассказ начальника станции: «Его проводница заметила. Он сначала пошел в тамбур. Там прятался. Потом она его выгнала из бойлерной, где топочная. Ну, печка топится, что воду греет... А он все-таки, видимо, место искал себе, где можно было уколотся... А потом уже забрался к себе на полку. И там лежал». В сознании Дубравина мелькало какое-то непонятное слово «передозировка». Мысли путались. Последнее, что он подумал, было: «Господи! Тут все надо самому делать. Учиться, работу искать. Жизнь строить... А вот человек. У него все было. Живи да живи. А вот не пожилось ему почему-то совсем. Может, и неинтересно было, что все у него уже было...».

Во Фрунзе они очень быстро нашли городской морг. Дубравин боялся, что, увидев мертвого сына, майор просто впадет в протрацию и в слезы. Но видимо, не зря Амалия Иосифовна работала столько лет в медицине. Во всяком случае, когда они вошли в темное, прохладное помещение морга, она держалась как стойкий оловянный солдатик. Увидев сына на холодном цинковом столе, она не упала в обморок, не ударилась в истерику. Дубравин же очень удивился, когда вместо, как ему представлялось, обезображенного пороком закоренелого наркомана увидел перед собой молоденького, беленького, кучерявого еврейского мальчишку.

Они постояли с минутой, посоветовались, как быть дальше. Решили. Она останется с сыном, обмоет, переоденет его. А он поедет в город за гробом и всем необходимым, что нужно будет для перевозки. Поначалу ему показалось, что задача, поставленная перед ним в данном случае, невыполнима. Во-первых, он абсолютно не знал город. Где что искать. Во-вторых, он страшно боялся, что после всех трат им просто не хватит денег, чтобы удовлетворить аппетиты всех ворон, слетавшихся на поживу. Но она, по-видимому, более четко представляла себе силу и власть денежных знаков. И поэтому ни о чем не беспокоилась. И успокоила его на этот счет, сообщив:

– У Геры тоже должны быть деньги. Я ему в плавки в кармашек заложила двести рублей...

Она сходила к телу и, к Дубравинскому удивлению, извлекла искомые деньги. Ну а с ними проблемы разрешались достаточно быстро. Дубравин поговорил с молоденьким водителем автобуса-катафалка, и тот согласился, что за тридцатку он поможет им в хлопотах.

Не прошло и получаса, как они уже были у ворот лесопилки, где располагался цех по производству гробов. Предусмотрительный Дубравин запасся меркой, снятой с покойного. И они тут же из имеющегося ассортимента подобрали Гере симпатичный отполированный гроб.

А вот дальше начались напряги. В справочной аэропорта он выяснил, что покойников можно перевозить по воздуху только в цинковом гробу. А этот цинковый гроб должен быть в деревянном ящике. Но естественно, никаких таких вещей нигде не продавалось. Все надо было изготовить на месте, в городе. А в городе как раз нерабочие дни – суббота...

И началось. Сначала они метнулись на своем катафалке на один из крупных заводов, чтобы изготовить цинковый ящик. Увы и ах! Начальник цеха, случайно оказавшийся на месте, только развел руками:

– Никого из рабочих сегодня нет!

Он же и присоветовал:

– Здесь есть небольшие мастерские металлоремонта. Может, кто-нибудь из мастеров и возьмется.

И вот уже их катафалк летит вихрем по окраине города к какому-то мастеру-узбеку дяде Юсупу. Дядя Юсуп, толстый, волосатый, с обожженными канифолью пальцами, в фартуке, мужик не промах. Он берется сделать такой цинковый гроб. Но поскольку работа сверхсрочная, то и денег за нее он хочет немерено – аж сто рублей. У Дубравина в зобу дыханье сперло, когда он услышал такую невиданную цифру: «Это две месячные зарплаты отца!». Но делать нечего. Пришлось пообещать.

В общем, они вертелись в катафалке по городу как белки в колесе. А проблем было несть числа. Отвезли гроб в морг. И тут забастовали рабочие, изготавливающие деревянный ящик для перевозки. Им показалось, что тридцать рублей, которые они запросили за свой труд, такая сумма, которую в нормальном уме и трезвой памяти никто им не заплатит. На самом деле так оно и было. Такому ящику красная цена – восемь рублей. Работяги не нашли ничего лучшего, как просто сесть у пилорамы и начать длинный полудневный перекур. Дубравину в своем парадном мундире пришлось дать задаток и проявить трудовой порыв, для примера самому стать к пилораме. Иначе как объяснить «шакалам», что делать надо срочно?

Потом он помчался в аэропорт уговаривать военного коменданта помочь им с билетом. Комендант бумажку выписал. Но в кассу стояла гигантская очередь. И взмыленный Дубравин вынужден был просить народ «Христа ради» пропустить его. Кстати, он был очень удивлен, когда толпа, до сей минуты яростно воевавшая за место под солнцем, после его рассказа о миссии тихо расступилась и пропустила его к заветному окошку. А кассирша молча выписала два билета.

До отлета самолета оставался всего час с небольшим, а они все еще крутились со своими ящиками в маленькой, плохо освещенной мастерской дяди Юсупа. Мало того, жестянщик Юсуп, когда увидел женщину и понял, какой она национальности, захотел сорвать еще кусок.

– Когда я называл цена сто руб, – пыхтя, объявил он ультиматум, – то я думал, что будет вози бедный солдат. А это богат еврейка. Для нее другая цена. Сто тридцать пять руб...

Дубравин в отчаянии так и сел на пахнувший деревом, новенький, оструганный ящик. Все траты и так казались ему гигантскими. Но Амалия Иосифовна все поняла с полуслова. И кивнула головой – пусть будет сто тридцать пять.

Они втроем – рядом с Дубравиным был водитель катафалка –

выгрузили гроб с Герой. Берестецкая попрощалась с ним. Положила на грудь своего кудрявого мальчика цветочек. И тихо кивнула головой:

– Закрывайте!

Они надвинули крышку и принялись быстро заколачивать гвоздями. У Дубравина перед глазами все еще стояло девичье лицо подростка и уже начавшие синеть ноздри – первые признаки смерти. Когда наступил самый страшный момент – надо было вставить деревянный гроб в цинковый и запаять – обнаружилось, что гроб не входит в ящик. Не лезет. В ужасе они не знали, что делать. Тогда Юсуп тихо сказал Дубравину:

– Тебе надо залезать на крышка и прижимать!

Дубравин в панике покосился на Берестецкую, которая в своем черном платье тихо сидела на стуле с отрешенным видом. Страшное дело. Ему показалось, что за эти дни она постарела сразу на много лет. Он шепнул Юсупу:

– Может, ей лучше выйти на это время?

И вот в этот, самый трагический, на его взгляд, момент в мастерскую влетает какой-то алкоголик. Вечереет. И он, видимо, ищет место для ночлега. Пошатываясь и икая, взлохмаченный алкаш, заплетаясь языком, начинает качать права. Брызгая слюнями, он кричит:

– Кто это тут? Шо вы делаете? Я здесь сплю! Уходите!

Дубравин берет его аккуратно за шиворот и тащит к двери. Тот упирается и выворачивается, проклиная его. Но, как говорится, сила солону ломит. Через мгновение он уже оказался за дверьми, а Дубравин аккуратно прикрывает их и закладывает доской.

От трагического до смешного один шаг.

– Господи, прости! – шепчет он и залезает на цинковую крышку. Гроб поддается, оседает. Пахнет канифолью. Юсуп запаивает этот край цинкового ящика.

До отлета самолета остается совсем чуть-чуть. А им еще надо доехать до аэропорта. Сдать ящик в багаж. Зарегистрироваться на рейс.

Они подхватывают гроб, втроем несут его к катафалку. Однако только они открыли дверь мастерской, как сбоку объявился давешний алкоголик и с криками встал в боевую стойку:

– Кто на меня руку поднял? Ты? Выходи драться. Я тебе счас морду разобью!

Процессия с гробом останавливается в молчании буквально в трех метрах от катафалка. Понимая, что разбор полетов может затянуться, а самолет ждать не будет, Дубравин молча поставил свой край на обочину и подошел к «боксеру». Одним коротким ударом в солнечное сплетение

вырубил его. Когда «боксер» начал складываться и валиться, он не дал ему упасть, а аккуратно подхватил и уложил у обочины дороги на травке, ласково приговаривая:

– Неугомонный ты какой! Отдохни, полежи тут пока...

Они снова подхватили свою трехслойную ношу из гроба, цинкового ящика и деревянного футляра и поволокли ее к раскрытому люку катафалка.

Эх, карета мчится! По уже темнеющим улицам Фрунзе они вихрем пронеслись к аэропорту. Сдали багаж по квитанции и побежали регистрироваться на рейс. Только зарегистрировались, как снова появился водитель катафалка.

– Че случилось-то, Володя? – рявкнул Дубравин. – Я ж тебе все заплатил!

– Да знаешь! Сань! Грузчики не хотят забирать ящик из машины и загружать его в самолет. Начали бодягу разводить, что груз нестандартный, тяжелый!

– Ну и суки! – взвихрился Дубравин. – Понимаешь... У нас грошей уже нема. Все раздали. Пошли!

В общем, кончилось все тем, что они сами подогнали катафалк к открытому грузовому люку самолета и прямо на летном поле затолкали ящик в багажное отделение.

Только Дубравин сел в кресло – сразу уснул. Отрубился... Как в воду упал.

Очнулся он в ту секунду, когда Ил стукнулся колесами о бетонку новосибирского аэропорта...

XI

Дороги. Дороги. Дороги. Ночные целинные дороги. Кругом на десятки километров степь и степь. Ни огонька. Ни столбика. Только ветер дует, пригибая придорожные кустарники да изредка перенесет через асфальт жесткий круглый куст перекасти-поля. И снова ровный гул мотора. Шорох изношенной резины. Посвист ветра за окном.

Изредка фары выхватят стоящего столбиком на обочине суслика или сверкнут чьи-то хищные глаза. А то глядь – зафарится серый заяц и помчится впереди машины, даже не пытаясь выскочить из светового потока.

Не впервой Амантаю Турекулову возвращаться в студенческий отряд ночью, когда и на улицах целинного поселка, где они расквартировались, и в окрестностях ни души. Только забрешет изредка где-то собака да стукнет деревянная дверь сортира. Весной, когда он с квартирьерами приехал осматривать место дислокации отряда, больше всего его в этом целинном поселке потрясло огромное количество сортиров. За каждым домом на улице, образуя собственную улицу, выстроились стройными рядами эти деревянные будки.

В любой русской деревне сортир стоит где-то посреди огорода или за забором. В зарослях и кустарниках. А потому не выпячивается, как дуля, не мозолит людям глаза. Здесь же, в полупустыне под Баканасом, никаких огородов у людей не было, так как на засоленной песчаной почве ничего толком не росло. Поэтому получалось, что покосившиеся сортирные будочки стояли прямо посреди улиц рядами, как старые солдаты, своеобразно «украшая» целинный поселок и создавая его неповторимый архитектурный ансамбль.

Получилось это оттого, что такие поселки появлялись на казахстанской земле не там, где люди хотели жить, а там, где решила партия. Ткнул какой-нибудь секретарь обкома пальцем в карту – здесь, мол, будем осваивать степь. Ну, все взяли под козырек. А что там на самом деле голимый песок и для жизни место ну никак не годится – это никого не волновало. На таких землях только овец пасти. Что местные жители и делали из века в век. А тут стали сеять пшеницу дуриком, ну и, конечно, чаще всего посеянное либо не всходило, либо просто выгорало на солнце. Тогда урожай списывался на корню. А совхоз продолжал как ни в чем не бывало работать в том же ритме.

Сначала, когда стало понятно, что и в этом году урожай спишут, Амантай встревожился. А вдруг у совхоза не будет денег, чтобы рассчитаться со стройотрядом? Но, глядя на круглые и абсолютно спокойные лица директора и главных специалистов, он как-то слегка тоже приободрился. А когда вырвался в Алма-Ату, поделился своей тревогой с дядей. Дядя Марат посмеялся, но объяснил:

– В том и преимущество социалистической экономики, что у нас все распланировано. Государство покроет убытки. И выделит фонды на строительство. Тут главное – уметь пробивать в министерстве материальные ресурсы. А ваш директор в этом деле великий специалист. Так что не переживай.

Амантай переживать перестал. Но все равно недоумевал. Особенно когда начиналась очередная песчаная буря. Налетал ледяной ветер. И шел дождь пополам с песком. А потом наступала беспощадная жара, от которой угнеталось и задыхалось все живое.

Зачем здесь живут люди?

Но дни летели за днями. Бывало, что после дождичка и пески расцветали. Тогда они видели вокруг прекрасные, даже какие-то разноцветные от слагающих пород холмы. Иногда встречали возле поселка небольшие стада сайги. Животные, завидев их автомобиль, вихрем уносились по степи. А они с Ерболом соскакивали с дороги и мчались за быстроногими. Но куда там! Сайгаки проносились мимо и скрывались за каким-нибудь холмом. А они еще долго приходили в себя от охотничьего азарта. Перекидывались словами и жалели:

– Эх, нет ружья!

Сегодня Амантай хмур и недоволен всем. Его тонкие губы строго поджаты. А узкие черные глаза прямо глядят на дорогу.

«Шайтан бы ее забрал, эту корреспондентку», – думает он, сидя на переднем сиденье старенькой черной «Волги» ГАЗ-24, торопливо мчащейся по ночной дороге в Баканас.

А как хорошо все начиналось! В прошлом году он работал в Республиканском штабе студенческих строительных отрядов. Заведующим отделом. В общем-то нормально работал. Не особо перенапрягаясь. Помотался по районам, посмотрел, как действуют линейные строительные отряды. Где-то с кем-то о чем-то договаривался. Научился входить в

высокие кабинеты. Освоил азбуку отношений с разного рода начальниками. От прошлого сезона у него осталось «глубокое моральное удовлетворение» и вот эта медаль. Он сейчас чуть погладил свою медаль «За освоение целинных и залежных земель», которая поблескивала холодным металлом на его зеленой стройотрядовской куртке с многочисленными яркими, разноцветными шевронами и значками: «Спасибо дяде. Он помог. Устроил ему медаль. Медалька так себе. Но в его возрасте она многое значит. И может дать важный толчок в карьере. Теперь бы в партию вступить. И все. Дорога открыта». Но вот с партией у Амантая пока не получается. В основном стараются принимать «гегемон». А ему она как верблюду седло нужна. Вот и уговаривают всяких трактористов, шоферов да комбайнеров. А тех, кому надо, не берут. На их факультет дают-то всего одну анкету в год. А очередь – человек пятьдесят. Все понимают, что у партийного шансов сделать карьеру намного больше. Вот и стараются. А у них на факультете полно детей начальников. И сын министра юстиции учится, и сын секретаря Кызыл-Ордынского обкома партии. Всех и не перечислишь. Сколько их тут. Вот и потягайся с ними за партийную анкету. Но дядя – человек тонкий. Не зря в ЦК работает. Эта медаль дает ему шанс всех обойти. Хоть и не рабочий, и не крестьянин, а вроде как участвовал в освоении целины. Уже легче будет дяде говорить с кем надо. Ему обещали в этом или в следующем году дать анкету. Но это дела будущего. А сейчас надо решать текущие проблемы. В прошлые годы он понял: самые хорошие заработки у командиров отрядов. Надо только суметь прокрутиться.

Деньги ему нужны. Очень нужны. Потому что он надумал жениться. Их случайный роман с Альфией не закончился просто так. Он бурно продолжался весь год. «Странное дело. Живут люди поодиночке. И вроде бы им не так много требуется от жизни. Но стоит им попытаться создать семью, как всего надо в десять раз больше. В чем тут хитрость? Непонятно».

Впрочем, Амантай не особо размышлял на эту тему. Ему нужны были деньги. На свадьбу. Ведь у казахов стараются сделать свадьбу как можно больше и богаче. Чтоб все могли сказать: «Ой, бай! Турекулов такой свадебный той сделал! Тысяча человек было. Ели, пили три дня. Погуляли. Вот так погуляли!».

Для этого он собрал ударный отряд. Так как на факультете все крепкие ребята-юристы были уже в других отрядах, то он своих взял немного – человек пятнадцать. А остальные были со стороны. Его гордость составляют ребята из физического института. Даже не из института.

Они в основном играют за местную баскетбольную команду «Локомотив». Парни, соответственно, здоровенные, крепкие, а главное – уже имеющие опыт работы в строительных отрядах. Он с ними сошелся на том, что с его связями и пробивными способностями и с их силой и умением работать они смогут сделать хорошие бабки. Амантай знал, что привлечение в отряды работников со стороны строжайше запрещено инструкциями. По мнению вышестоящих, это превращало непорочное студенческое движение в откровенную шабашку. Знал, но думал, что все обойдется. Не он первый. Не он последний. Многие командиры стройотрядов так делали. Но не обошлось. И все эта чертова корреспондентка. Из республиканской стройотрядовской газеты. Приехала. А тут у нее один знакомый оказался среди студентов. Андрюха Голев. Ну, посидели они вечером, пооткровенничали. Наутро она уехала. И оба-на! Летит плюха. Она пишет: «И что они тут делают, эти физкультурники, среди юристов? Зачем они тут оказались? В этом надо разобраться!». И ссылается на Голева, что он, мол, сильно сомневается: «Заплатят ли остальным студентам по справедливости?». Газетка так себе. Дело обычное. Но Амантай знал, как из обычного, рядового события его недруги могут раздуть историю. И прощай тогда заветная красная книжечка. А с нею вместе и хорошая должность в комсомоле, советских или партийных органах. Вот это его и беспокоило. А когда делят заработки, недовольные всегда есть. Могут снова в газету пожаловаться.

«Эх, эти бабы! Сколько из-за них народу начальствующего погорело!» Он некстати вспомнил директора целинного совхоза, где работает его стройотряд. «Во мужик! Деловой, энергичный. Мировой мужик! А как он на планерках чешет своих заместителей! Достается всем. Когда начинает крыть их трехэтажным матом, у него у самого холодок по спине пробегает. Но его он не ругает».

Он прерывает свои мысли и смотрит в унылую, однообразную утреннюю степь. На то, как голоногий мальчишка-казачонок на гнедой старой, облезлой кобыле сгоняет с дороги табун разномастных лошадок.

«Да, – возвращаются мысли в привычную колею, – а ведь был директор большим человеком. Членом ЦК. Крупным областным начальником. И спутался со своей секретаршей. А жена узнала. Написала в парторганизацию. Началось персональное дело. Завертелось. И кинули его сюда. На совхоз. Директором. Из-за бабы. А что делать? Как без них? Вот и он тоже... Ах, Альфия. Что ты делаешь со мною? И как к этой его идее жениться отнесется дядя Марат?».

После той ночи в общезитии Амантай, если честно сказать, не знал ни

минуты покоя. Все его мысли, чувства заняла она, красавица метиска, настоящая торе. Сначала встречались они в общежитии. Потом он снял комнату в городе. Ненасытная, горячая, жадная до ласки, завладела она им. Искушила, измучила. Эх, какая сладкая была эта мука. Бывало, после ночи вдвоем выползал он утром на занятия еле-еле. А то и просто пропускал день. А ей хоть бы что. Всегда свежая, веселая, живая. «Альфия, Альфия, что ты делаешь со мной! Дурманящая любовь, замешанная на бешеном сексе, затянула, как в петле...»

– Эй, Ербол, давай поворачивай к школе! – оторвавшись от своих раздумий, обратился Амантай к водиле.

«Волга» сошла с асфальта и запылила по проселку к виднеющимся вдалеке серым шиферным совхозным крышам.

Несмотря на раннее утро, работа кипит. Весь отряд на ногах. Одна бригада собирает из щитов школу.

Есть такая технология. Делают на фабрике где-то в Чимкенте щитовые дома. В целинном поселке собирают. Быстро. Два-три месяца – и готово. Одна беда – на такой работе расценки низкие. Много не заработаешь. А им надо много. Студент – он как медведь. За лето надо жиру накопить, чтобы хватило до следующего лета. Поэтому вторая бригада у него работает на строительстве тротуаров. Ставят деревянную опалубку по земле. Засыпают песочком. А потом заливают бетоном. Чем не тротуар? Как в городе. Дело очень выгодное, денежное. Но трудоемкое. Пришлось в сельском стройцехе поставить бетономешалку. Выделить туда, на бетон, четырех человек. И вот с самого утра заводят они свою шарманку. И начинают мешать бетон. Потом вываливают его в кузов старенького самосвала ГАЗ-51. И он начинает рейс. Так и челночит. То стыкуется с бетономешалкой, то идет к дороге. К земле. В шутку студенты назвали бетономешалку как американскую космическую станцию – «Аполлон». А грузовичок, на котором челночит хитрющий вислоусый казах, – по названию нашего космического корабля – «Союз». Так и работали. «Аполлон» с «Союзом». Своеобразный конвейер. Когда подходит очередной грузовик, надо быстро-быстро очистить кузов от бетона. Потом на носилках растащить его по опалубке. Утрамбовать, выровнять. И так весь день. Амантай видел, как бросаются на дело парни. Как с каждым днем они выматываются, тончают на глазах. И ему хочется, чтобы за этот

каторжный труд они получили хорошие деньги. И тут это уже его забота. Расценки расценками. Но многое зависит от того, как их закроют. Например, напишут в наряде, что песок подносили за пять метров, а не за два, как на самом деле. Вот и набежит существенная разница. И тут важно договориться с прорабом. Сколько он припишет. А прораб у них местный. Кореец по фамилии Ким. Гад вредный, сил нет. Бригадир с ним общего языка не нашел. Вот опять стоят ругаются.

– Я тебе говорю, неровно бетон кладете! Переделывать надо! – нервно теребя папку с бумагами и недобро оглядывая из-под полей летней шляпы приближающихся, кричал жилистый, дочерна загорелый прораб.

– Че ты на меня орешь?! Я инженер! Я знаешь сколько лет в стройотрядах? – в свою очередь, пер в бутылку бригадир Мишка Селезень, смахивая прозрачные капельки пота со лба, обвязанного живописным грязно-розовым носовым платком.

– Я тоже инженер, – горячился, доказывая свое, Алик Ким. – Как инженер, я могу любую дорогу построить.

– Что вы кричите так! – примирительно говорит, подходя к этой живописной группе, Амантай. Весь с иголочки и даже в белой рубашке с галстуком, несмотря на дичайшую жару. Он таким был и на планерке у директора. Держал фасон перед сельчанами.

Все примолкли. Студенты, снимавшие опалубку с уже готового участка, тоже остановились и разогнули спины.

«В чем тут дело? – между тем лихорадочно размышлял Турекулов. – Что-то здесь не так. Амбиции амбициями. Это понятно. Но из-за амбиций никто не собачится так каждый день».

– Вот, смотрите, смотрите! – тем временем Ким подошел к открывшемуся куску бетонного тротуара и стал ковырять бетон носком остроносого ботинка. – Какие раковины огромные! Надо переливать... По ГОСТу полагается...

«Да при чем тут раковины, ГОСТ? Это же деревня. Тротуар, а не плотина какая-нибудь!» – тем временем, наблюдая за перепалкой, тянул дальше привычный ход мыслей командир.

– Вы у меня заработаете! Приехали за шабашкой! Мы тут за сто рублей корячимся. А они... Варяги! – уже не сдерживая себя ни в чем, орал, уходя, прораб.

Тум. И словно тумблер замкнулся в голове. Поток мыслей сменил направление. Все для Амантая стало на свои места. «Да он же просто завидует нашим заработкам! Вот в чем дело! С ним-то никто не делится, – дошло до него наконец, – из-за этого он и кричит. И не хочет подписывать

соответствующие наряды. Да, точно не зря мне ребята намекали, что надо делиться с прорабом».

Для Амантая не было вопроса, хорошо это или плохо – давать откат. Да и не могло быть. Во-первых, в силу воспитания и пластичности. Во-вторых, потому, что за ним стояли ребята из его отряда. И им было абсолютно наплевать, как он там договорится с прорабом. Они приехали сюда работать и заработать. От этого зависело, как они проживут следующий учебный год. А для него было важно, сможет ли он наладить свою жизнь с Альфией.

Поэтому решение появилось мгновенно: «У нас без выпивки ничего не происходит. Встретиться с ним в нормальной, неформальной обстановке. Выпить. И прямо спросить. Чего и сколько он хочет. Но это вечером. А сейчас надо подумать. Что делать с этой статьей?». Он позвал Мишку Селезня и комиссара отряда Андрея Петрова. Посоветоваться. Судили-рядили часа два. И так нехорошо. И так плохо. В общем, поговорили. Плюнули. Позвали Андрюху Голева, который своей откровенностью и навлек на всех эту напасть. Накинулись дружененько на него. «Что ж ты так нас подвел под монастырь? По глупости или с умыслом?»

Андрюха стал клясться-божиться, что ну никак не ожидал такого поворота событий. А кабы он знал, что все так обернется, то он бы к ней не то что под юбку не полез, он бы с ней и за версту на одном поле срать не сел.

Короче, решили: будем отвечать после стройотряда. Под конец сезона, после расчета соберем отряд. И ответим коллективным письмом. Где все подпишутся. И пусть тогда кто-нибудь скажет, что его при расчете за сезон обманули. Не выйдет.

А вот с прорабом надо что-то решать срочно. Прежде чем что-то делить, надо заработать и получить наличку, а уж потом думать, как раскидать, чтоб никого не обидеть.

Вечером, прихватив две бутылки самого дорогого коньяка, который только был в местном магазине, он пошел вместе с мастером наводить мосты. Домой к прорабу. Сначала дело не ладилось, но с третьей порции коричневой духовитой жидкости, налитой в граненые стаканы, они уже перешли на «ты».

– Да ты понимаешь, Амантай? Что меня заедает? – сверкая желтыми с прожилками белками узких щелочек глаз и сжимая стакан и челюсти, шумел Ким. – Что он меня не уважает! Меня, инженера!

– Я здесь один с высшим строительным образованием! – упоенно продолжает он. – Знаешь, как я учился? Заочно. А тут какой-то сопляк.

Мне говорит. Да, ты колхозник. Да, я, ик, колхозник? Бр-р-р! – теряя нить размышления, пробормотал он. – Давай выпьем за нас. За умных людей. А то он. Колхозник! Оскорбил меня...

Хитрый кореец даже по пьянке не упоминал о главном. Пришлось Амантаю, тоже порядком поддавшему, самому предложить ему десять процентов, если все будет хорошо закрыто. Тут Ким сразу же проявил недюжинные способности в математике. Сошлись на том, что если он закроет нарядов на столько-столько и полстолько, то получит десять процентов от суммы. Ну а если закроет еще на четвертьстолько, то пятнадцать.

XII

Валерка Дершунин, чернявый, явно с примесью цыганской крови пацан, вылетел из комендантского взвода несколько месяцев тому назад. За недисциплинированность. Отправили его в стройбат, в роту. Дубравин потом несколько раз встречал его, идущего вместе с другими строителями, с объекта. Ему Валерку было жалко. Потому что никого на свете у Валерки не было. Вырос он в детском доме, где ребятишкам прививаются совсем иные ценности и навыки жизни. В силу такого своего воспитания и образования он был очень самолюбив и одновременно уязвим в своем самолюбии. Этим пользовались.

Так получилось, что в роте к Валерке подкатили не самые лучшие парни. Ранее судимый Лубыш да еще один, по фамилии Терентьев. Вот так они и составили троицу самоходчиков. Как только казарма засыпала, эти трое сваливали через дыру в заборе. Таскались по поселку, ходили в бараки к девкам. А там, естественно, пьянка, гулянка. Вот однажды и догулялись. Возвращались под утро в казарму. Встретили какого-то такого же подвыпившего мужичка. Попросили закурить. Тот их послал. Слово за слово. Они его послали. Мужик назвал их фашистами. «Ах, мы фашисты?» Ну и стали втроем мужика этого метелить. Так «били, били, колотили, что морду в ж... превратили». Короче, убили они этого мужика по пьяной лавочке. Забили до смерти.

Ну естественно, найти их не составило особого труда. Девки из барака на них и указали. Плевое дело. Заарестовали ребят на третий день. Повязали голубчиков. А там пошло-поехало.

Держали их первое время на губе. И таскали к следователю, который быстренько начал их всех колоть. Расколос. И стало ясно, что было у ребят групповое убийство. Но покрутили, покрутили. Поговорили с начальством. И решил следователь, что губить сразу три жизни нет резона. И дальше все пошло как по маслу: «Кто потопает за паровоза? Кто из ребят самый порядочный и возьмет на себя?». А главное – за кого некому заступиться? Кто один, как перст, на свете? И по всему выходило, что таким станет Валерка Дершунин. Так и получилось. Уговорили, играя на Валеркином уязвимом самолюбии и благородстве. Вышло изо всех показаний четко и быстро, что сидеть ему. Ну а дальше дело известное. Лубыш и Терентьев перебрались в свидетели. А Валерку по постановлению следователя надлежало отправить в СИЗО города Новосибирска.

Вызвал старшину Дубравина к себе подполковник (уже подполковник) Скатов и отдал приказ:

– Собирай Дершунина. Сам отвезешь в СИЗО.

Вот такая драма. Когда Валерка был у них во взводе, они как-то по-человечески, душевно общались с Дубравиным. А тут такое дело. Старшина начал отказываться, мол, сегодня в караул заступаю, надо подготовиться. Пускай отвезет младший сержант Анисимов. А Скатов – ни в какую!

– Вези сам! Больно дело ответственное. Вдруг сбежит. Или кто отпустит. Он ведь у вас служил. Другим не доверяю. Только тебе. И заряди-ка ты, парень, свой автомат боевыми. И возьми еще двух конвоиров.

А проблема была в том, что не было у комендачей такого спецтранспорта, чтобы зеков возить. Был просто крытый брезентом армейский грузовик.

Сказано – сделано. Скрепя сердце пошел Дубравин в караулку. Забрал свой АКМ, зарядил магазин выданными Скатовым патронами. Кликнул пару добрых молодцев – Серегу Степанова да Юрку Колчедана. Посоветовались, что да как. Кто куда сядет. Кто возьмет на мушку.

Потом он отпустил их. Собирать Дершунина. А сам сел и глубоко задумался.

Минут через десять привели Дершунина. Он обрадовался. Поздоровались. Дубравин посадил его рядом, сказал:

– Ну вот, Валерка! Велено везти тебя от нас с гауптвахты в СИЗО.

Потер лицо и лоб ладонью, вздохнул:

– Мне велено. Сам Скатов приказал. Во избежание каких-либо происшествий. И ни хрена ничего не поделаешь. Щас машину подгонят к воротам губы. И поедем.

Дубравин с той минуты, как получил это задание, чувствовал себя страшно неловко и неудобно. Ведь Валерка был свой, не чужой ему человек. И он для него был не чужой. И везти его в СИЗО ему, Дубравину, было по-человечески тяжело. И это одна сторона вопроса. А другая заключалась еще и в том, что для Дершунина ситуация на сегодняшний день была абсолютно тупиковая. Сейчас он был всего-навсего арестованный на пятнадцать суток приказом командира части. Ну а после того, как его привезут в СИЗО, его статус резко изменится. Он уже будет не подозреваемый, а подсудимый.

Так вот, по всем показателям сегодня выходило, что у Валерки никогда уже больше не будет такого шанса. Он даже не понесет никакого особого

наказания. За побег с гауптвахты ничего не бывает. Ему ни прибавка к сроку, ни дополнительный суд не грозят. И повезут его в армейском грузовике, а не в зековском закрытом автомобиле. И повезут свои, которые в случае чего могут и не гнаться.

Так сидел, размышлял о ситуации Дубравин. И думал: «Ну а если он рванет, что делать-то? Гнаться? Стрелять? Или махнуть рукой? Да, задал ты мне задачку, подполковник Скатов. А может ведь рвануть. Не зря Скатов велел нам зарядить оружие. Хрен его знает, что делать? Ведь это Валерка, с которым они вместе, лежа в казарме, по вечерам переговаривались, вспоминали детство...».

Заскочил наконец носатый, лупоглазый Юрка Колчедан. Отрапортовался ернически:

– Персональный автомобиль подан!

Так и не решив для себя, что делать в таком случае, Дубравин сказал Колчедану:

– Выйди, подожди там!

А потом обратился к Валерке, который сидел, наклонив курчавую цыганскую голову и опустив руки между ног:

– Что я могу для тебя сделать?

Дершунин:

– Покажи мне сопроводительные бумаги.

Дубравин взял в руки серую папку, в которой было несколько белых листков с напечатанным на машинке текстом. Постановление следователя. Казенным языком в нем рассказывалось о том, что «Дершунин В.А. в состоянии алкогольного опьянения...». Он с минуту поколебался, а потом подал папку ему:

– Читай! Все, что могу.

Через десять минут они уже сидели в кузове бортового ЗиЛа. Дершунин в глубине. Рядом с ним Дубравин. А у заднего борта с автоматами наготове расположились Степанов и Колчедан.

День был осенний, но прекрасный. Настоящее бабье лето. Красные клены, тепло, тишина, все еще зеленая травка настраивали на мирный, добродушный лад. А вот поездка не располагала.

Когда тронулись, Валерка попросил закурить. Степанов дал. И даже оставил ему всю пачку. Но все равно, несмотря на такие внешние проявления дружелюбия, чувствовалось, что все напряжены и готовы к любому повороту событий.

Дубравин же мучительно размышлял: «Что делать, если вдруг сейчас Валерка вскочит со скамейки и спрыгнет на каком-нибудь повороте через

борт? С одной стороны, он друг. С другой – он, Дубравин, начальник караула». И вдруг ему в голову пришла простая, как арбуз, мысль: «Просто судьбы у нас такие разные. Одному выпало стать арестованным, а другому – везти его в тюрьму. Но предположим, он сиганет, а мы стрелять не станем. Разве от этого обвинение в убийстве человека исчезнет? Нет. Его все равно рано или поздно поймают и будут судить. Только он в бегах может еще чего-нибудь отчебучить. И ему же хуже будет от этого. Нет, от судьбы никто не уйдет. Ни он, ни я! Потому что судьба эта находится внутри нас. Мы сами ее выбираем. А значит, точка. Хватит слюни пускать. Будем действовать по приказу. Это не я буду стрелять. А приказ».

Додумав это, Александр Дубравин как-то сразу успокоился. Ему почему-то все стало ясно и понятно.

Минут через тридцать такой езды их армейский грузовик в клубах пыли затормозил у ворот серого здания новосибирского СИЗО. Дубравин зашел в проходную. Объяснил женщине в зеленой форме с погонами сержанта, сидящей в стеклянной, но зарешеченной будке, что он, старшина Дубравин, привез сюда по постановлению следователя арестованного. Контролер просмотрела документы. И железные ворота, дернувшись, жутко медленно разъехались в разные стороны. Грузовик проехал вперед. Там оказались еще одни металлические ворота. После этого первые закрылись. И они оказались в пространстве между двумя.

Сбоку в стене открылась дверь. Вышел молоденький офицер, лейтенант конвойной службы, в потертом мундире, сапогах и брюках-галифе. Взял у Дубравина папку с бумагами. Спросил:

– Оружие при себе есть?

Александр показал автомат.

– Оставьте его конвойным. К нам с оружием нельзя! Идите за мной.

Они подошли к двери с окошком. Офицер произнес требовательно:

– Люся, открой!

Зажужжал электрический замок. Дверь открылась. Они прошли в тамбур перед второй дверью. Задняя дверь закрылась. И только когда она захлопнулась, открылась передняя. Впереди оказалась еще одна дверь. Процедура прошла в том же порядке. И только после третьей они оказались в просторном, длинном и широком помещении.

«Так вот она какая, тюрьма, – думал старшина с любопытством и тайным страхом, разглядывая внутренности СИЗО. – Это не то что наша губа. Тут посложнее и пострашнее будет». Хотя, в сущности, ничего страшного-то и не было. Выкрашенный зеленой краской коридор, по сторонам двери камер, в углу стол, пара стульев.

Офицер присел к столу, пригласил сесть Дубравина. Стал внимательно читать документы.

– Так. Так. Это есть. Постановление есть. Оформлено правильно. Продовольственный аттестат есть. Вроде все на месте.

Встал из-за стола.

– Вы, старшина, подождите еще немного. Тут у нас этап пришел. А потом мы займемся вашим солдатиком.

Минут двадцать Дубравин наблюдал, как проходили по одному в помещение, докладывая о себе, бледные, молоденькие, стриженные налысо мальчишки в черных тюремных робах. Контролеры – битые, опытные мужики в зеленых мундирах – быстро расфасовывали этап по камерам. Только было слышно:

– В седьмую. В пятую...

– В пятой и так уже пятнадцать!

– Тогда давай в шестую.

Потом какого-то особенного зека не стали помещать со всеми. А подвели к отдельной двери с окошком.

– Лицом к стене! – скомандовал толстый контролер с дубинкой на ремне.

Зек в новехонькой робе и блестящих ботинках лениво встал. Толстый, гремя ключами, открыл камеру. Дубравину стал виден малюсенький бокс на одного человека, в котором была только встроенная в стену скамейка и где зек мог только сидеть или стоять, уткнувшись лицом в дверь.

Александр в ужасе подумал: «Это все равно что в шкафу запереть. Хорошо, хоть окошко есть. Господи, а какие молоденькие среди них! Вот тот совсем ребенок».

Вернулся, потирая руки, лейтенант:

– Ну что, кажется, приняли всех. Давайте своего заводите!

Опять через все эти тамбуры и двери он прошел вместе с Валеркой в приемную. Видно было, что Дершунину тоже не по себе. Он как-то побледнел и осунулся. Но старался вида не подавать. Контролер проверил, все ли положенные вещи имеются при нем. Отодвинул в сторону записную книжку, фото девушки и бритвенный станок:

– Это у нас не полагается держать в камере. Заберите!

Формальности соблюдены. Бумаги о приеме подписаны.

– Ну вот и все, молодец! – буднично-устало говорит начальник караула, тот самый лейтенант, вытирая мятым платком вспотевший лоб. – В пятую солдата! Ну и жарница же...

И в эти последние секунды Дубравин видит плывущий, растерянный

Валеркин взгляд. Обрывается последняя ниточка, связывающая его с волей.

Сорвавшимся от волнения голосом он останавливает уже поворачивающегося за контролером Дершунина:

– Валера!

Подходит к нему, жмет холодную руку. Секунду они смотрят друг другу в глаза. Валера шепчет:

– Если бы не ты, Саня, меня вез. Я б попробовал...

Они оба понимают, о чем идет речь.

Дубравин шумно вздохнул, выходя из мрачного здания СИЗО на улицу. «Господи, как хорошо здесь, на воле! Солнышко светит. Травка. Люди. Эх, Валерка, Валерка...».

Через месяц состоялся суд. Рядовой Дершунин получил двенадцать лет строгого режима. И в общем это было по-божески. Потому что в судебном коридоре Дубравин как-то столкнулся со следователем, молодым, чернявым, длинноволосым парнем лет тридцати, и тот ошарашил его еще одним откровением:

– Пожалел я ваших пацанов. Ведь у убитого мужчины экспертиза обнаружила сперму в заднем проходе... Но я этот факт к делу не приобщил.

«Только Лубыш с его тюремным прошлым!» – мелькнуло, как молния, в голове у Дубравина.

XIII

Все чаще и чаще Александра Дубравина посещали разные нехорошие мысли об армейской жизни. Он смотрел вокруг себя. Смотрел на офицеров. И то, что казалось ему раньше блестящим и манящим будущим, стало серой ежедневной рутинной. Будничным существованием, наполненным бессмысленной муштрой, пьянством, матом, армейскими шуточками и прочей белибердой. Увидев ближе офицеров, он уже не хотел становиться таким, как они. Конечно, люди они были разные. И жизнь их складывалась по-разному.

Были такие, как Шура Перфильев, которого солдаты прозвали Шура-Дурачок. И рассказывали про него байки. Когда Шура учился в военном училище, он был самым тупым курсантом на потоке. Огромного роста, могучий, как дуб, он мог быть использован только на тяжелых земляных работах и больше нигде. Поэтому начальство не раз и не два хотело отчислить его. Но каждый раз, когда генерал-майор Иванов вызывал Шуру на ковер, чтобы объявить ему о принятом решении, то глупый как пробка, но здоровенный курсант Перфильев так заходил в кабинет, так тянулся струной, так громко и четко докладывал начальству о своем прибытии, что у того отнимался язык и не поднималась рука, чтобы подписать приказ. Однажды генерал все-таки решился объявить курсанту свою волю. Что тут было! Шура упал на колени и, рыдая, просил не отчислять. Так он, переползая с двойки на тройку, на коленях, все-таки закончил училище.

Но и в части о его чудачествах рассказывали легенды. Как-то он проковырял дырочку в своем погоне и вставил туда третью звездочку. Пришел на КПП, где проходили возвращающиеся с работы военные строители. Встал на воротах и, когда в часть заходил очередной взвод или отделение под руководством младшего командира, останавливал его криком:

– Почему не отдаете честь старшему лейтенанту?

В своих мечтаниях он уже представлял, как станет не просто лейтенантом, а старшим лейтенантом, что было для него, очевидно, верхом блаженства.

Однажды Степанов с ефрейтором Ежовым ходили с Шурой-Дурачком в патруль. Это была песня. Как только они вышли за ворота части, лейтенант Перфильев начал носиться вокруг забора, выискивая место для засады. В конце концов он нашел огромную дыру. Патрульным Степанову и Ежову

предложил спрятаться в подъезде стоящего рядом жилого дома. А сам зарылся в куче сухих и прелых листьев, что лежала возле забора.

Зрелище было абсолютно дурацкое. Посреди городского микрорайона, состоящего из достаточно высоких многоэтажек, взрослый дядька в форме принялся играть в войну. Все выглядело так. Стоило только первому самовольщику вылезти через дыру в заборе, как из кучи листьев и мусора поднялась гигантская фигура Шуры и начала орать:

– А-а-а! Попался, проклятый!

Он кинулся к военному строителю и принялся вязать ему руки с воплем: – Патруль, ко мне!

Однако Степанов с Ежовым давились от хохота в подъезде и не торопились идти ему на помощь.

А строитель оказался не робкого десятка. Звезданув Шуру-Дурачка в торец, он кинулся наутек, как заяц, и немедленно скрылся в соседнем подъезде, где, очевидно, и жила его зазнобушка.

Когда подошли патрульные, Шура тупо разглядывал доставшуюся ему от нарушителя пилотку и сокрушался по поводу того, что на ней не была выведена фамилия беглеца. Впрочем, это не мешало ему напуститься на Степанова с Ежовым с обвинениями в нерасторопности.

– Воины! Вы в патруле или в музее? – орал Шура на всю улицу. – Зажирели! Где ваша хватка? Подам на вас рапорт за попустительство нарушителям воинской дисциплины!

Впрочем, когда он после патрулирования пошел с жалобой, начальник штаба, нервный, резкий подполковник Акулич, в ответ на его рапорт медленно вытянул пальцы правой руки, сложил их в большую дулю и, быстро-быстро суя ее под нос Шуре, проговорил:

– Х... в нос! Х... в нос тебе, а не рапорт!

На том дело по наведению порядка в этот раз и кончилось.

Впрочем, люди были разные, хотя и одетые в одинаковое обмундирование. Были честные и порядочные офицеры, такие как лейтенант Ланонов, Бидяев. Были такие, как начальник строевой части майор Скатов, редкостный и занудный службист. Дубравину, который оказался со своим взводом при штабе, много чего пришлось увидеть с изнанки армейской жизни.

С подполковником Акуличем тоже случилась история, которая сильно повлияла на отношение старшины к службе. А дело было такое. Как-то пропал один армянин. Отправился в отпуск. И надолго исчез. Все думали, что дезертировал. И объявили в розыск. А он вдруг взял и вместо положенных десяти суток объявился через три месяца. Ну и закрутилась

колесница.

– Где был? – стали его спрашивать следаки. – С чьего разрешения? Посадим тебя, паря, или в тюрюгу, или в дисбат (попасть в дисбат в представлении солдат было в десять раз хуже, чем в тюрьму.)

Ну а тот, не будь дурачком, выложил все начистоту. Так, мол, и так. Я получил свой отпуск за взятку, которую дал старшине роты сверхсрочнику Буркову. И еще я ему должен был по приезду поставить пять бутылок настоящего армянского коньяка. И что, мол, у нас в роте таких отпускников уже человек десять было. А чем я хуже?

Ну и понеслось дерьмо по трубам.

Естественно, взялись за Буркова. Выяснилось, что Бурков не мог сам оформлять всем этим отпускникам документы. А подписывать их имел право только начальник штаба подполковник Акулич. Вспомнили, что подполковник и сверхсрочник – давние друзья.

Акулич – бывший летчик, списанный по здоровью. По характеру нервный, взрывной, вспыльчивый, но неплохой мужик. Просто ему военная служба влилась по первое число. У него гипертонический криз. Положили в больницу, где он принялся симулировать из себя сумасшедшего.

В общем, кое-как отмазали Акулича.

А вот старшина Бурков загремел. Получил шесть лет тюрьмы.

Дубравин по своей молодой наивности долго удивлялся неразборчивости нашей Фемиды. «Как же так, – думал он, – прапорщик разве мог издать приказ по части об отпуске?».

А Акуличу, правда, пришлось срочно покинуть воинскую службу. Уволили его тихо, без шума. Он устроился на гражданке начальником отдела кадров одного из больших новосибирских предприятий.

Много чего еще не нравилось Дубравину в армейской жизни. Но особенно его задела одна история. Командиру части на солдат пожаловались гражданские. Ночью, когда сторож детского садика забухал и спал, двое воинов (их якобы видели из окон стоявшей рядом многоэтажки) разбили окно, забрались в садик и утащили оттуда два паласика и ковер. Конечно, «батя» – в армии, как ни странно, всех командиров полков зовут «батями» – знал, что в стройбате у него служит не сахарный народ. Но эта кража его заела. И поэтому он объявил, что тот, кто изловит воров, получит десять суток отпуска. Естественно, комендантский взвод был быстро-быстро расставлен по дырявому периметру, а по улицам микрорайона Северный стали ходить патрули.

Ровно через сутки после кражи, рано-рано утром, когда все еще спит,

патруль в составе Сабри Ибрагимова и Сереги Степанова увидел, как отодвигается висющаяся на одном гвозде старая доска и из дыры в заборе вылезает свернутый в кольцо палас. А потом высовывается усатая голова в военной шапке. Голова оглядывается по сторонам. Следом появляется обутая в кирзовый сапог нога.

Мгновение – патрульные налетают с двух сторон. Сбивают воришку с ног. И под белы руки тащат его обратно в часть. Все ликует и поет.

Однако сержанта Дубравина данная ситуация потрясла не оперативностью, с которой его подчиненными были схвачены расхитители социалистической собственности. А то, как распорядился обещанным вознаграждением начальник строевой части майор Скатов. Он послал в отпуск не отличившихся героев-бойцов, а рядовых Туребулова и Меладзе. Потому, что Туребулов был из долины реки Или. И должен был привезти ему, Скатову, шкурки ондатры на шапку. А Меладзе – из солнечной Грузии. И должен был доставить ему бочонок хорошего вина.

Очумевший от такого поворота событий, старший сержант Дубравин неделю не мог глядеть в глаза Степанову и Ибрагимову. Конечно, Степанов был известный гуляка, а Ибрагимов не отличался особой ретивостью к службе и частенько отлучался с поста на кухню. Но факт оставался фактом. Поймали-то ворюгу они. И тут, как говорится, ничего не попишешь.

От размышлений обо всем этом голова шла кругом.

В общем, прежде чем решать, оставаться ли тебе в этой армии, семь раз подумай.

Был и еще один случай, который больно задел его командирское самолюбие. Как обычно, он проверял посты. Была зима, мороз за тридцать. Он обошел КПП. Побывал на внутреннем посту, на гауптвахте, нашел забившегося на кухню часового, который должен был ходить по двору. И пошел к себе во взвод. Проходя мимо забора склада, он услышал какое-то всхлипывание. Заинтересовался, что там такое. Потихонечку-потихонечку побрел к воротам склада, прошмыгнул в них. И... сразу увидел. Спиной к нему с поднятым воротником огромного белого тулупа, обхватив ружье, на каком-то поставленном торчком ящике сидел часовой.

Дубравина захлестнуло возмущение: «Ах, паразит! Только я за ворота, а он уже уселся. Счас я его раздолбаю, козла». Он потихоньку, чтобы не скрипел под обрезанными валенками рыхлый снег, подкрался сзади к ефрейтору Вершине и ткнул его кулаком по затылку в тулуп горбу.

– Вот так тебя кто-нибудь и пришьет. Чего расселся? Чего скулишь?

Часовой обернулся. Оба-на! Это был не Вершина, а Амантай

Тамнимбаев, которого ровно полчаса тому назад он заменил на Вершину.

Возмущение сменилось раздражением: «А он как тут оказался? Ему отдыхать надо после суток в карауле».

– Ты как на пост снова попал? Чего рыдаешь как белуга? – раздраженно спросил он Тамнимбаева.

– Да они меня заставили идти на пост!

– Кто они?

– «Старики»!

– Как так, на разводе же Вершина стоял?!

– Я уже третий день стою. А они только на развод ходят.

– Ах, суки, что удумали! Ну погоди, сейчас я с ними поговорю. Душу вытрясу...

Дубравин страшно гордился тем, что, как он считал, искоренил у себя во взводе дедовщину. Раньше, до него, молодых гоняли в наряд и в караул через день на ремень. А «старички» культурно отдыхали.

Он, когда стал старшиной, на них надавил, несколько раз разговаривал. Одного особенно борзого выжил из взвода, что для комендачей было хуже некуда. И – о чудо! Заставил, как ему казалось, всех тянуть лямку одинаково. И действительно, теперь по составленному им графику все выходили по очереди на губу, в патруль, на КПП. Чинно, гладко. Как положено. Но это было внешнее наведение порядка. А на самом деле «старички» выходили на развод, забирались в караулку, а вот на посты выгоняли молодых и заставляли их стоять две, а то и три смены подряд.

Амантай Тамнимбаев – маленький, смуглый, круглолицый с усами казачонок – был любимцем во взводе. Бывают такие люди. На коричневом лице белые-белые зубы. Постоянная кроткая улыбка под черными усами. Он никогда не раздражался, не кричал. Был терпелив, безропотен, готов взяться за любую работу. Все делал обстоятельно. Этаким Платон Каратаев, только в обличье сына степей. Казалось бы, такого человека армия согнет в дугу. Но, как ни странно, эти его доброта, безропотность, душевное тепло, исходившее от него, привлекали к нему людей. Да еще свирепый его земляк Серега Саломатин взял Амантая под опеку. И не давал его обижать ни грузинам, ни армянам, ни уж тем более своим. Дубравину тоже нравился этот солдат. Иногда они с ним баловались, перекидываясь бранными казахскими словечками.

Амантай был родом из глухой провинции – из Баканаса. Но любил беззлобно прихвастнуть, особенно перед молодыми солдатами, что он из Алма-Аты. Поэтому Дубравин в шутку называл его, представляя совсем молодым солдатам: «Амантай-бала, Алма-Аты кутак!». Что значило:

«Амантай-мальчик. Хрен из Алма-Аты». И когда недоумевающие молодые спрашивали, что это значит, отвечал: «Это его ханский титул!». И они оба с Амантаем закатывались от хохота.

А оказалось, что, когда покровитель Солома ушел на дембель, Амантая, пользуясь его безропотностью, припрягли втихаря. Да так припрягли, что он даже заплакал на посту.

«Подонки! Уроды!» – Дубравин на всех парах помчался в караулку. Теперь он сам был «стариком», да еще старшиной впридачу. Поэтому, влетев в караулку, он разбудил Вершину и с ходу заехал ему в ухо так, что у того голова дернулась. Дал ему в зубы карабин и, трясаясь от злости, добавил:

– Если я еще раз увижу, что вы на Амантае пашете, то я не знаю, что с вами сделаю!

Только через пару часов, когда он уже остыл, «старики» подослали к нему младшего сержанта Лунева. Объясниться, что да как. Виноваты, мол. Но мы же не борзеем!

– Да ты пойми, Васька, – Дубравин, отпивая чай в каптерке, пытался объяснить свою вспышку. – Амантай – он как ребенок. Чистая душа. А они над ребенком издеваются. Он даже не жаловался. Я сам на него случайно набрел. Они люди? Или кто?

Потом ночью он долго думал об этом случае. «В одиночку не переломить всех этих обычаев. Этих порядков. А кто поможет? Офицеры? Да им наплевать на нас. Главное, чтобы все было снаружи гладко. Пришел Валера утром. «Ну что, старшина, порядок?» – «Порядок». И зафантилил. А ты расхлебывай. Эх, служба!»

XIV

В казарму с поста приперся ефрейтор Меладзе. Скинул полушубок, валенки, размотал шарф, смахнул наледь с усов.

– Холодно! Заходил ночью на кухню к хлеборезу. А там какой-то чечен сидит из молодых. Здоровенный, как бик. Ефрейтор Лодяну на дембель уходит. Вместо нэго будет этот Ваха...

«И как эти черные всегда ухитряются на блатные места пролезть? Наши, русские, служат, а эти вечно пристраиваются, – подумал старшина Дубравин, собираясь в караул. – Чеченов всего два месяца как в стройбат нагнали, а они уже в хлеборезке, и в клубе, и в столовой, и в кочегарке, и в бане ошиваются, а вчера Скатов заявил, что он возьмет, мол, несколько человек в комендантский взвод. Что они, мол, такие злобные до службы, что наведут порядок. А того он не знает, что если они сюда попадут, то давить в первую очередь будут наших русаков, а своим, наоборот, поблажки делать. Дураки мы, дураки. Не понимаем, что творим. Ладно, зайду сегодня в хлеборезку, познакомлюсь с этим хреном».

В принципе старшине Дубравину было все равно, кто там банкует в хлеборезке, кто и как делит белый хлеб, масло, выдает сахар на столы. Как и в любой зоне (а армия по своим порядкам мало чем отличается от зоны, особенно в нестроевых войсках), здесь всегда есть блатные места, на которых можно перекантоваться два года без особых забот, чтобы все было тип-топ и нос в табаке. Самое вожаделенное из всех таких мест – это хлеборезка. Доступ к дефицитным продуктам давал возможность не только хорошо жить самому, но и подкармливать земляков и просто нужных людей. Комендачи тоже всю пользовались этой возможностью. Ведь нет в этом мире гарантии, что ты не попадешь на губу. И хлеборез в том числе. А уж там наша власть. Поэтому существовал особый неписанный порядок, по которому ночью они частенько забредали с поста в столовую. И там им подкидывали жратвы. Подкрепиться. А то попробуй всю ночь простоять на посту, особенно зимой, когда мороз градусов тридцать, а у тебя в пузе пусто, как в бездонной бочке.

Сам Дубравин никогда на кухню не ходил. Звание, должность и природная гордость не позволяли. Но люди его паслись на кухне, и поэтому он должен был знать, кто и сколько брал. А дальше выяснялось, делился ли с другими солдатами, что стояли на КПП, в карауле на губе, на постах в штабе и на складах. И если он узнавал, что кто-то ходил на кухню,

а потом скрысятничал, то такой парень был не жилец в их дружном взводе. Так что контакт с хлеборезом был как бы частью его работы по воспитанию подчиненных.

«Что-то знакомое, – подумал он, когда увидел помощника Лодяну. – Где я его видел?» Пока он вспоминал, Лодяну уже шел ему навстречу, радостно оскалившись всеми своими белыми, гармонирующими с его белым халатом зубами.

– Ай, дарагой Александр! Какими судьбами начальник комендачей попал к нам? Присаживайся. Сейчас сделаю чайку, найдем, что перекусить!

Дубравин тоже принимал этот шуточный, но уважительный тон. Ему было приятно, что его уважают не только как «старика» и командира свирепых военных полицейских, но и просто как человека справедливого.

– Это кто у тебя? – спросил он, кивнув в сторону громадного рыжеволосого парня, который в это время тащил на разделочный стол лоток с двенадцатью буханками пахнущего дуриком так, что слюни текут, горячего белого хлеба.

– Да вот, из штаба прислали. Готовлю замену себе. Через месяц дембель.

– Из молодых, что ли?

– Последний призыв, чечены! Но уже борзый! Тут вчера драчка была. Наш из барнаульцев, Столбов, с ним поцапался. Ну, знаешь, как это бывает. Он же дедушка. Шикнул на этого. Его Ваха зовут. Потом полез в окно. Давай орать матом. Ты знаешь, он какой бык. Два метра ростом. Ну и распоясался. Ваха выскочил в зал. Схватил в охапку, сбил с ног, сел на него верхом и держал, пока тот не запросил пардону. Крепкий парень...

Дубравин еще раз оглядел похожего на медведя, наряженного в гимнастерку Ваху. На его разрезанные сзади голенища сапог (потому что икры не влазят), на нахлобученную котелком пилотку, на натянутую на спине так, что вот-вот лопнет, гимнастерку, на знакомое, с каким-то детским выражением, но с рыжей небритой щетиной лицо.

«У, да это же Сулбанов!» Когда-то он бился с ним на целине, потом была схватка на соревнованиях по дзюдо. «Господи! Как давно все это было! В какой-то другой, давней, прошлой жизни», – убедился он в своей догадке.

– Ваха! Иди сюда, познакомься. Мой друг, старшина Дубравин. Большой человек в нашем маленьком болоте.

Поздоровались. По удивленным глазам новобранца Дубравин понял, что тот тоже вспомнил его. Но никто из них ничего по этому поводу не

сказал. Вся их вражда была так давно и так несущественна, в той жизни, на гражданке.

Сели пить чай. От пуза белого хлеба, сахара, масла. Чай настоящий, пахучий. Не тот, что разносят в алюминиевых чайниках по столам дневальные.

Разговором завладел сразу же Лодяну. Кучерявый, белозубый ефрейтор показал свой дембельский альбом и ушитую донельзя ПШ, что в переводе на обычный человеческий язык означает полушерстяную форму. Знаки – воин-отличник. Гвардия. Первый разряд по ВСК. Специалист первого класса. Многочисленные шевроны на рукаве, белые шнуры адъютантских аксельбантов. Белый кант на воротничке. Вставки под погонами и опознавательный знак – десять прыжков с парашютом – превратили скромную гимнастерку в роскошный наряд, в котором наш дембель похож одновременно на гусара, петуха и ряженого. Но такова сила традиций и естественное молодое желание выпендриться.

Дубравин щупал, хвалил, восхищался. Его давно готовая парадка со старшинскими погонами висела наготове. Но естественное дело – такого великолепия у него не было. Все было скромнее и проще.

Молодой тоже подошел, похвалил. Сказал, что через год он пойдет на «дэмбель».

Так они и познакомились – за чаем у хлеботореза ефрейтора Лодяну. И как ни странно, в чем-то даже подружились. После этого визита Дубравин изредка появлялся в столовой (ему, как «старику» и старшине, приносили еду во взвод). И неизменно, когда он там появлялся, Ваха здоровался насколько мог любезно и приглашал к себе. Посидеть, поговорить. Дубравин не отказывался. И дело было не в чае с маслом. Ему просто было интересно. Потому что Ваха Сулбанов, да и другие чеченцы, нохчи, как они сами себя называли, – это был другой мир, другой образ мысли, другое отношение к жизни.

– Хочешь, покажу тебе свою невесту? – как-то в приступе доброго расположения духа сказал ему Ваха и бережно достал из гимнастерки фотку. Дубравин глянул: здоровенная, крепкая, полная веснушчатая девушка, сфотографированная где-то в саду, чуть прищурясь, стояла у яблоневого дерева. Теплые солнечные блики скользили по ее лицу, заставляли щуриться. Дубравину не нравились такие рослые, полные девицы. Но он понимал этикет и поэтому кивнул головой, возвращая фотографию, и сказал:

– Да, красивая!

– Отец сказал – вернусь из армии, женит меня на ней. Уже сейчас он

для меня дом начал строить!

– А ты с нею встречался? – спросил Дубравин.

– Ты что? – искренне удивился Ваха. – Это отец мой будет с ее родителями договариваться. А нам встречаться нельзя. Я ее так, на улице видел...

«А как же любовь? Отношения? – думал про себя Дубравин. – Ведь это же мы с Галкой должны решить, будем вместе или нет. А у них, оказывается, все по-другому. Как старшие скажут – так и будет».

– А если отец умрет? Кто тогда будет решать, на ком тебе жениться?

– Тогда старший брат скажет!

– Ну у вас и порядки! Гулять нельзя! Старший все определяет! У нас по-другому.

Александр тоже достал Галинину фотографию и показал:

– Вот моя красавица!

Ваха вежливо потянулся за фото. Посмотрел, покачал головой:

– Красивая! Но худая больно! Трудно ей будет с детьми...

И опять Дубравин в очередной раз удивился. Ваха, молодой парень, отметил не глаза ее, не стройность, а способность рожать детей.

Вообще за всеми этими, казалось бы, простыми разговорами о самых простых вещах он ощущал огромную разницу в их обычаях и отношении ко всему. Он не думал, хорошо это или плохо. Он просто понимал, что Ваха и его сородичи – другие. А здесь, в армии, куда они сейчас попали, они только выполняют какую-то роль, навязанную государством. Но стоит им только выйти за ворота, снять форму – и они тут же вернуться в свой мир. Мир своих обычаев и представлений.

В общем, у них с Вахой установился этаким мир, дружба и взаимное уважение. Но это было уважение силы. Ваха чувствовал в нем силу, а он чувствовал ее в Сулбанове.

Но даже у него, который был одним из наиболее развитых чеченцев, он нередко замечал презрительное, враждебное отношение к тем, кто был слабее его. Но и другие солдаты платили чеченам той же монетой. Горячие грузины презрительно кривили губы, мудрые армяне качали головой, глядя на сынов гор.

Удивительно Дубравину было и то, что, несмотря на давление советской власти, единое образование, законы, карательные меры, армяне, грузины, курды, казахи сохранили в глубинах народной жизни больше своих обычаев, порядков, чем русские. Получалось, что в огромном национальном котле, где варилось варево под названием «советский человек», больше всего выварился самый большой этнос, суперэтнос –

русский народ.

Так, в застольных разговорах о том о сем он неожиданно для себя узнал, что у старшего Сулбанова, как это ни странно, три жены. Живут они, правда, в разных домах на одной улице и официально не зарегистрированы. Но все их дети для Вахи братья и сестры. И всего их четырнадцать.

Другой новостью для него стало то, что грузины из его взвода – малограмотные сельские парни – знают наизусть много стихов из поэмы Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре». Как-то им из дома пришла посылка с чачей. Выпили они – и давай распевать и декламировать.

Открытием было то, что ефрейтор-курд Чече-Оглы, живший с русской девушкой больше года и собиравшийся остаться в Новосибирске с нею, вдруг получил письмо от отца с приказом немедленно возвращаться. И немедленно стал собираться домой.

Но больше всего его удивили братья Пейсаховы. Уж Бог его знает, какими путями попали в советскую армию, да еще к нему в комендантский взвод, два еврейских брата-близнеца. Еврей, служащий срочную в армии, – это вообще парадокс. А тут сразу два. И что интересно, они четко и ясно сразу просекли обстановку, мгновенно сориентировались и приспособились к новой жизни. Не прошло и недели, как они выяснили, от кого что зависит, кто чем распоряжается. И, о чудо, на восьмой день, уже зная, что Дубравин обожает сладкое, притащили передачу «от бабушки», в которой была сгущенка, огромный кусок шоколада (видимо, добытый где-то на фабрике). Короче, братья принесли ему сладкую взятку. А через день попросились в увольнение. Ну как таким откажешь? Еще пару месяцев тому назад старшина послал бы их далеко и надолго. Мол, увольнение надо заработать. Но сейчас, когда до дембеля оставались считанные дни, ему было глубоко на все наплевать. Более того, он видел, что на дембель ушли уже почти все сержанты, все разгильдяи, а он, образцовый командир, старшина, столько корячившийся для армии, до сих пор сидит в части.

И обиделся. Вы со мной так? Ну и мне наплевать. Ел с чистой совестью сгущенку и отпускал братьев «ночевать к бабушке».

XV

В начале июня его вызвал к себе начальник штаба. Сердце Дубравина дрогнуло. «Ну, кажется, дембель пришел! Наконец-то!» – подумал он, начищая сапоги перед выходом. И скорым, быстрым шагом в радостном

предвкушении свободы помчался в штаб. «Сбылось, сбылось!» Он вспомнил иронический рисунок, который оставил при уходе на дембель его друг художник Алеха Соломатин. На рисунке были изображены двое в военной форме, беседующие у самовара. Один из них, помоложе, держа дымящееся блюдце у рта, заявляет другому: «Ну что, майор, дембель давай!». Под рисунком подпись: «Старшина Дубравин в гостях у начальника штаба».

Но разговор в кабинете повернул в другое русло. Скатов, лысый брюнет с морщинистым лицом, долго ходил вокруг да около, интересовался у старшины, чем он хотел бы заняться после службы в армии. Дубравину вовсе не хотелось раскрывать свои планы, тем более что они в первую очередь касались его отношений с Озеровой. Тем более что последние полгода она перестала писать ему письма. Ни здравствуй, ни до свидания. Год все было, как надо. «Люблю, страдаю!» Короче, тыры-пыры, куры-гуси. Потом письма стали приходить пореже. И уже не такие теплые. В них сквозил любовь и забота, но уже была и тревога: «Здравствуй, милый мой, родной, дорогой, самый хороший! Я не знаю, откуда взялась эта тоска и тревога. Чем ближе становится этот день, тем мне тревожней. Большое спасибо за фотографии. Они доставили мне радость. У меня нет хорошей фотографии. И я тебе послала, где я с горами. Мне даже стыдно, ты уже столько фотографий своих прислал, а я одну, и то давным-давно. Боюсь показаться, такая стала ужасная.

Твои письма такие нежные и согревающие. Мне очень хорошо. И я чувствую, что только ты на всем свете единственный и что я тебя очень люблю.

У меня сейчас куча дел. Не знаю, за что и браться. Скоро экзамены, затем каникулы. Их я думаю провести с Володькой где-нибудь в горах. Мне очень грустно и скучно. Я не знаю, когда была очень-очень веселой и радостной. Только письма твои согревают меня.

Прочитала, ну и страшные какие-то письма у меня получаются. Мне неловко от своих же нежных слов. Я никому их не говорила, даже тебе. А вот пишу. Смогу ли я сказать их при встрече?

Я глупая. И совсем девчонка. Опять, опять детство.

Тебе нужно серьезно подумать о своем будущем, об учебе. Сюда поступить (а особенно на историю, филологический) вряд ли удастся. Нужны нац. кадры. Лучше попытаться где-нибудь в России, а затем ты можешь перевестись сюда, в Казахстан.

И ты прости меня, но не представляю тебя учителем. Я не хочу, чтобы ты был «пропащим», как и я. И если ты будешь где-нибудь учиться, мне

будет гораздо спокойнее за наше будущее.

Ты подумай. Мне тоже очень нелегко. Но так надо. И ты должен учиться.

Крепко целую. Галка».

Он тогда написал ей, что тоже много думает об этом. О будущем. И еще написал, что боится встречи. Какие они стали за эти три года? В ответ пришла коротенькая записочка: «Я тоже боюсь этого. Какой ты? Какая я? Какие мы? Теперь. Пиши».

И адрес. И все. Молчание на долгие месяцы. Что случилось? Почему?

Поэтому Александр так ждал и все никак не мог дожидаться увольнения в запас. Ему много в чем надо было разобраться для того, чтобы принять нужные решения.

Но Скатов поинтересовался-поинтересовался, а потом предложил:

– А может быть, ты останешься на сверхсрочную службу? Подпишешь контракт годика на три. А если не хочешь на сверхсрочную, мы тебе такую характеристику дадим – в любое военное училище тебя, считай, без экзаменов возьмут. А? Старшина? Такие, как ты, в армии нужны.

Старшина Дубравин не любил подполковника Скатова, с которым прослужил все эти полтора года. И конечно, для него такое предложение со стороны вьедливого и вредного, постоянно цепляющегося по службе начальника штаба было неожиданным. И лестным.

Но... Он много думал об этом. И в принципе при желании мог уже через год подать заявление в любое училище. Но уже тогда он заколебался. Насмотрелся тут всякого. Развевал романтику. И дело было даже не в дедовщине, не в беспорядке. В конце концов, это зависит от офицеров. Он снова, как когда-то на стройке, где работал монтажником, представил себе, как он изо дня в день, из месяца в месяц будет ходить на службу, ждать очередного повышения, очередной звездочки...

Нет. Не-е-ет. И нет. Почему-то хотелось другого. Какого-то полета. Свободы, что ли. И вот сейчас, когда его детские мечты сбылись, он каким-то внутренним чувством понял, что все это в прошлом, все это ему уже не нужно.

– Такое неожиданное предложение, товарищ подполковник! – пробормотал он. – Это надо серьезно обдумать. Я как-то уж настроился на гражданку. Спасибо. Подумаю дня два. Да и с родными надо посоветоваться...

На самом деле он действительно эти два дня обдумывал ситуацию. И странное чувство теперь, после армейской службы, владело им. Он понимал, что после этих двух лет жизни на одном месте, фактически

взаперти, главное, чего ему хочется, – свободы. Чтоб можно было свободно перемещаться в пространстве, видеть какие-то новые места, края, а может быть, и страны. Еще одним важным пунктом было то, что ему не хотелось отвечать за разгильдяев. «Наелся досыта! – думал он. – Чуть что во взводе – старшина виноват. На губе кто подрался, сбежал, а ты куда смотрел? Зачем мне это надо? Власти я не хочу. Деньги? Тогда майор Берестецкая предлагала мне помощь в поступлении в торговый институт в Москве, через подруг. Я отказался. Душа не лежит. Оторвался я уже от армии». В конце концов он сформулировал для себя: «В армии не оставаться. С этой страницей жизни покончено. Ехать надо к Галинке. В Усть-Каменогорск. Разобраться до конца. Что и как. Поставить точки над «і». Потом в Алма-Ату. Учиться. Либо на исторический, либо на журналистику».

Историю он страстно любил со школы. А журналистика... Он бережно собирал свои публикации еще с того времени, когда работал на домостроительном комбинате. Пару заметок написал и в армии. В дивизионной газете «Страж Отчизны». Он слышал, что на журналистику требуются печатные работы. А это значит, что после двух лет службы он пойдет не как школьник по общему конкурсу, а как стажник по отдельному. Плюс к этому творческий конкурс. Так что шансы были неплохие.

Но может, самым главным во всех этих рассуждениях были даже не эти преимущества при поступлении. И даже не его явная склонность к писанию, которая проявляла себя то в стихах, то в письмах, а то и в заметках, напечатанных в газете. Главным было то ощущение несправедливости устройства окружающего мира, которое он остро чувствовал. Бороться с нею, изменить мир было невозможно, если у тебя нет какого-то оружия в руках. В таком случае ты превращался в рядового жалобщика, которые тысячами обивают пороги разных учреждений и начальников. Его внутренний настрой к окружающему миру был именно такой, критический. А журналистика давала выход этому настрою. Давала возможность, как он думал, хоть что-то изменить во всем этом бардаке. С такими мыслями в голове, с таким настроем он и шел к своему дембелю.

Через два дня он, как и договорились, доложил свое решение Скатову.

– Ну что ж, в запас так в запас, – вздохнул тот, подписывая бумаги, лежащие на полированном столе. – Жаль. Армии хорошие люди нужны. Но ты и на гражданке не пропадешь.

Через два дня старшина Дубравин получил обходной лист.

Не было ни оркестра, ни цветов, когда он, попрощавшись с ребятами во взводе, молча толкнул калитку КПП и вышел на улицу с дембельским

чемоданчиком в руках.

XVI

Белый-белый заснеженный лес резала такая же заснеженная дорога. Дорога неширокая, нехоженая. Скорее даже не дорога, а этакая тропа, которую изредка, раз в сто лет, использовали как дорогу.

Десять минут тому назад пятеро тепло, но разношерстно одетых мужиков проходили здесь, ступая след в след за егерем. И поставили его – Вовулю Озерова – у поворота на номер. Холодно. Он стоит молча, стараясь не шевелиться. Потому что егеря Владимир Иванович, небольшой, но жилистый мужичок, говорливый, готовый без конца рассказывать о жизни в лесу и жизни леса и даже ухитряющийся рассуждать об общественной жизни вообще, глядя на нее своим особенным взглядом лесного человека, сказал ему:

– Ну, тезка, смотри в оба. И не шевелись. Зверь – он видит и различает хорошо то, что движется. Поэтому задача охотника – притаиться, чтоб не услышал он тебя. И не шевелиться, чтобы не увидел. Вот твое место. Стой и гляди.

«Просто сказать. А попробуй тут в лесу постоять на морозе хоть полчаса. Околеешь небось». Володя вытоптал белыми валенками площадочку прямо перед указанным ему деревом и прислонился к мерзлomu стволу, обняв ружье, прижав его холодную сталь к своей фуфайке. Бр-р!

Медленно бегут минуты в ожидании зверя. Это пока Владимир Иванович расставит всех пятерых на номера в цепь. Пока сам с собакой выйдет на загон. Околеешь тут, подтягивая варежки и чутко прислушиваясь к нереальной, неземной тишине леса...

Это отец сбил его на охоту. Заметил интерес к природе. И стал смущать: «Что ты, Володька, все бабочек да жучков разглядываешь? Книжками Даррелла всю комнату завалил. Займись настоящим мужским делом. Вот уж я зимой в заказник к другу своему поеду. Давай и ты со мной. Взрослый уж чай! Студент, будущий биолог. Пора!».

Оно и вправду сказать, все интересно ему в лесу. С детства он наблюдал за животными, знал повадки многих из них. В доме у них постоянно жили собаки, черепахи, ежи, вороны, которых больными он приносил для лечения. Но особенно любил он наблюдать за жизнью зверьков на свободе: в лесу, в поле, в горах. Как-то обнаружил место, где

ловила мышей лиса, а потом неделю ходил смотреть на ее проделки.

Он прочитал о природе все, что нашел в школьной и в сельской библиотеках. Ездил даже в усть-каменогорские магазины. Добрался, кстати говоря, и до книжных полок учителя биологии, ботаники и всех прочих природных наук Аркадия Тихоновича Кочетова. Вместе организовали для младших живой уголок. Ходили зеленым патрулем в лес.

Особенное раздолье было, когда ездили на соревнования по туризму в район и область. Шурка Дубравин, Толька Казаков, Амантай Турекулов, Андрей Франк и он, Володька Озеров, там и подружились. Сбились в кучку. А он кроме всего прочего увидел такие места, такие красоты, которые многим живущим на земле и подольше его не снились. Отец и мать все пытались наставить его на путь истинный. Говорили: иди в музыкальное училище, хочешь – становись врачом. Но в конце концов так и стали склоняться к тому, что быть ему «биолухом», как в шутку называл его специальность отец.

Впрочем, что откуда взялось? Видать, где-то в их роду затаились чьи-то гены. Сами-то они люди мирные. И профессий что ни на есть животноводческих. А поди ж ты!

Так вот и стоит он теперь на просеке. Переминается с ноги на ногу. Греет в обнимку ружье. И все думает, думает о своем. Плывут облака. Плывут образы...

...Как прошлым летом ходили они на плоту по Ульбе. Приключений было! Жаль только, ребята не все. Кто в армии, кто на учебе. Пожар тогда тушили. Бушевал он на островке посреди реки. Горел сухой, стоявший плотной стеной камыш. Струйки почти невидимого огня скользили вверх. Чернели, сгибались догорающие стреловидные листья. Когда пламя достигало пушистых султанов, они вспыхивали яркими факелами.

Выскочили они на берег. И – кто за что хвататься. Он орудовал штормовкой, сбивал пламя, а Андрюха Франк поливал водой из ведра...

А пламя, как живое, тянулось к кустам шиповника, подкрадывалось снизу по траве. И в прошлогодней сухой траве окружило крупную гадюку. Огонь лизнул ее в бок. Змея сжалась, свернулась тугим кольцом, потом разжалась пружиной, кинула траву раз, другой и с бешеной скоростью забила, завертелась на месте...

Неожиданно налетел резкий порыв ветра. Жарко дохнул пеплом на лица. Подхватил языки пламени и вlepил их в ближайший куст. А с куста огненный вихрь цирковым акробатом взметнулся вверх по соснам.

Вдруг прямо из огня, высоко подпрыгнув, вылетел ослепший, обожженный ежик. Завертелся на раскаленной каменистой земле...

Чу! В заснеженном притихшем лесу раздался едва слышный звук. Пропал. Где-то далеко-далеко залаяла собака. Опять все умолкло. Тишина. Минут пять. И все повторилось. Только голоса были ближе и ближе.

«Как так может быть, чтобы в таком огромном заснеженном лесу лось мог выйти на меня? Зачем ему выходить на меня? – думал Вовуля. – Это как-то вообще иррационально, чтобы сошлись наши стежки-дорожки с тем рогатым могучим хозяином леса». Сам не зная почему, он вдруг заговорил про себя о лосе, как когда-то говорил, может, какой-то его предок-охотник, живший тысячу лет тому назад. «Туда не ходи, сюда ходи», – просил он рогатого хозяина.

В общем-то он абсолютно не верил, что на него кто-то выйдет. «Ну постою здесь, померзну, а потом придет Владимир Иванович и снимет меня с номера».

Через минуту ему что-то показалось в заснеженных кустах напротив, через дорогу.

«Волки! Что делать?!» – застыл в оцепенении.

Но уже стало ясно видно, что это не волки никакие. Чудо! Великое чудо Маниту свершилось! Прямо на него выходили косули. Две. Видимо, матка с детенышем.

У него пальцы в перчатках так и прилипли к ружью.

У той, что постарше, рожки, словно маленькая зубчатая корона, возвышаются над большими задумчивыми глазами. Вовуля чуть пошевелился, и она в настороженной позе на мгновение приостановилась буквально в десяти шагах от него. Детеныш, вообще ничего не услышав, продолжал двигаться, чуть помахивая хвостиком. Он даже видел, как подрагивал в нервности пятнистый бок косуленка.

«Стрелять? Не стрелять? Мы же вроде вышли на лося? А здесь матка. Если я ее убью, то что с олененком будет? А если не буду стрелять, то что охотники скажут? Разиня. С десяти метров... Господи, укажи, как правильно сделать! Как поступить? Ведь уйдут сейчас».

Но какой-то внутренний голос, нет, даже не голос, а инстинкт, вековечный инстинкт, запряванный где-то глубоко-глубоко, просто не позволял ему двигаться.

Животные, оглядываясь по сторонам и настороженно фыркнув пару раз, пересекли рядом с ним дорогу и скрылись в лесу. А он так и стоял еще несколько минут неподвижно, уже недоумевая, правда это было или просто ему почудилось, привиделось.

Потом очнулся, подошел к свежему следу. Да, это ему не привиделось. Две тоненькие цепочки следов тянулись в снегу.

Через полчаса показались медленно идущие по просеке охотники. Впереди Владимир Иванович в своей егерской куртке и сапогах, обшитых лосиной шкурой. За ним отец.

Владимир Иванович молча выслушал его сбивчивый рассказ. Но ничего не сказал. Не похвалил и не осудил.

«Видно, каждый здесь сам делает в таких случаях выбор. В зависимости от того, что у него внутри, – шагая след в след за отцом по глубокому снегу и вглядываясь в его широкую спину, размышлял Озеров. – А все-таки правильно я сделал или нет? Я не знаю, как с их точки зрения. А с моей – правильно! – наконец, уже стоя на новом месте, заключил он для себя. – Главное, чтобы на душе было согласие. А остальное – пустяки».

XVII

Уже вторую неделю Мария выходила по утрам за околицу Жемчужного и подолгу стояла, вглядываясь в даль: «Может, сегодня Шурик приедет?».

Но, как мать ни ждала, все равно он приехал неожиданно. Рядом с домом остановилась старенькая водовозка. В окошко кабины выглянул патлатый заика Леля – Толик Калама.

– Т-тетя Марусь! – позвал он ее. – Шурку в-вашего в-видел. Идет п-по дороге. С-скоро будет. С вас б-бутылка, – облегченно закончил он длинную речь.

Она засуетилась. Заметалась по дому... Прибрать немножко... Приготовиться...

А Дубравин сошел на перекрестке с автобуса, который поворачивал в сторону райцентра, и пешочком, пешочком пошагал в родное Жемчужное по той самой дороге, по которой когда-то ранним утром выходил, покидая село. Пару раз останавливались рядом с ним попутки. Но он не садился. Решил идти домой пехом, чтобы насладиться этим самым моментом возвращения. Ярко светит солнце. Подувает легкий южный ветерок. Волнами под ним играет сияющая зеленая пшеница на полях.

«Все прекрасно в этом самом лучшем из миров».

Вот уже он поравнялся с острым штыком памятника девочкам-партизанкам.

«А вот здесь, на скамеечке, мы отчаянно целовались с Людкой. Господи, и когда же все это было! Как давно. И наверное, не с нами».

Впереди замаячили крыши домов родного поселка. Хлопнула калитка. На крыльечке показалась матушка. Неожиданно легко, словно девочка,

сбежала ему навстречу. Объятия. Слезы. Невнятный лепет матери: «Шурик! Шурик!». Мать кажется ему такой маленькой, худенькой и совсем постаревшей. «Как она изменилась! Нет переднего зуба. И седая. Вся седая».

На летней кухне пахнуло родными знакомыми запахами. Что-то радостно говорят. Заглянула соседка Таня-кабардинка. И вот уже бежит с работы отец. Кто-то ему, верно, сказал, что он вернулся из армии.

Летит бессвязный, бестолковый разговор. И уже шипит на сковородке яичница. Гогочут в загородке отлавливаемые гуси.

Сын приехал.

Шурке так хорошо в родном доме! Так легко, радостно. Только чего-то не хватает.

– А где Иван? – спрашивает он о брате.

– Да-а! – машет рукой отец. – Совсем записался. В прошлом году по пьянке аварию сделал. Прав лишили на два года. Так что из шоферов его попросили. Работает на тракторе. Корма возит. Ну и тянет все. Мешок кормов – бутылка водки. Мы его отделили. Купили ему дом на втором отделении. Он, почитай, уже три месяца там со своей Надюхой живет. Она у него на сносях. Осенью ждут прибавления.

Помолчали.

– Да, – вздыхает отец, хлопая ладонью по столу, – так вот надеешься-надеешься, что помощь будет...

Уже через два дня Шурка окунулся с головой в привычную атмосферу родного села. Вошел в курс всех нехитрых сельских дел. Одно только беспокоило его во время долгожданного отпуска. Галинка еще не приехала на каникулы. Ее ждали со дня на день. И Дубравин с тревогой думал: «Какой же будет эта встреча?».

Она вышла ему навстречу по аллее так буднично и просто, как будто они расстались вчера или позавчера. И как и в последнюю злополучную встречу, никто никому не кинулся в объятия. Как будто не было трех лет отчаянной переписки. Этих слов любви, радости, надежды.

«Что куда делось?» – думал Александр Дубравин, молча разглядывая Галку. Она округлилась. Из девчонки-подростка, какой он ее тогда оставил, превратилась в чудную круглолицую большеглазую девушку. Девушку, которая созрела. И в то же время в ее округлом лице, огромных

глазах было что-то неуловимо детское, нежное, не затронутое студенческой беспутной жизнью. Ведь как бывает. Выезжает маменькина дочка в город, попадает в общежитие и начинает наживать там свой маленький или большой опыт совместной жизни с разными людьми. Пробует строить отношения с мальчиками, с мужчинами. Эх, общага! Это такой большой общий дом для молодых. Где все друг о друге все знают, где никогда не скучно, постоянно кто-то кого-то любит, кто-то с кем-то сходится и расходится, где люди впервые ложатся вместе в постель, пробуют себя и других в новой, абсолютно новой, еще не самостоятельной, но уже взрослой жизни. Это то место, где девчонки учатся вить гнездо, а парни пробуют себя в качестве кормильцев и спутников жизни.

За эти годы Дубравин видел немало общаг. Казарма – та же общага. И чувствовал всегда тот отпечаток, который они неизменно накладывают на людей. Но сейчас, глядя на Галку, он вдруг понял, что студенческая жизнь несколько не обогатила ее опыт отношений с мужчинами. Другая, поопытнее, побойчее, уже обняла бы его, чмокнула в щеку или в губы. И все бы расслабились.

Глупый. Он никак не мог понять, что ее любовь, их отношения – это то, что превратило ее в спящую красавицу и позволило ей сохранить всю полноту чувств, всю чистоту души для него. И эта-то полнота не позволяла плескаться и выплескиваться через край.

И вот сейчас они встретились. И как бы заново смотрят друг на друга. Примеривая новых друг друга к этой жизни.

Они постояли несколько минут. Вспомнили знакомых, друзей.

– Пойдем погуляем! – предложил слегка растерянный Дубравин.

Она взяла его под руку. И они чинно потопали в сторону ее дома.

Он в ужасе думал, что сейчас они дойдут до дома. Она помашет ему рукой. И все. Они так и не объяснятся. А это значит, что роман их был романом в письмах. Романом, в котором любовь была придумана и прожита как мечта, распавшаяся с новой встречей.

Но, странное дело, когда они подошли к синим металлическим воротам их дома, она не стала прощаться с ним или что-то объяснять. Неожиданно просто и серьезно она предложила:

– Саша, давай зайдем ко мне! Посидим, поговорим!

Он даже опешил от такого предложения. Представил себе, как будут на него пялиться ее родные из большой патриархальной семьи. Все эти бабушки-дедушки. Но с другой стороны, ему было интересно взглянуть на ее дом. «А что? Действительно, – подумал он, – дом, обстановка все сразу показывает. Что за люди ее родные?». И он, набрав в грудь воздуха,

проговорил:

– Ну давай попробуем!

И подумал сам о себе уважительно: «Видать, серьезно она ко мне относится, раз домой приглашает».

К его удивлению, ни в зеленом дворике, заросшем вьющимся виноградом, ни в прихожей дома никого не было. Он снял туфли и в носках прошел в тишине в ее комнату. Узкая девичья кровать, тумбочка с фотографиями, столик для занятий, пара стульев, тюлевая занавеска, диванчик.

Вот на этот диванчик они и присели для того, чтобы поговорить о жизни и о себе. Разговор был ни о чем. Пока он не попытался, что называется, взять быка за рога:

– Ну а почему ты перестала писать? – И о самом себе в третьем лице: – Ведь солдат живет от письма до письма.

Вопрос прозвучал о письмах. Но на самом деле завуалировано: «Любишь ли ты меня еще?».

Эх, молодой да глупый! Разве может женщина после стольких лет разлуки ответить не только тебе, но и сама себе на этот вопрос? Это с мужчинами все понятно. Огонь в груди горит. Страсть кипит.

Любовь же женщины – это чаще всего только отражение любви мужчины. И разгорается она медленнее, и погаснуть может без поджога очень и очень быстро. Да и любится «просто так» только в ранней молодости. Не зря же бытует в народе такой анекдот о девушках: «До восемнадцати лет у них один вопрос – где он? До двадцати пяти – кто он? До тридцати пяти – каков он? А после тридцати пяти опять – где он?».

Так что не задавайте деве юной вопросов разных о любви. Лучше расскажите ей о своей. А этого как раз им и не хватало.

– Да так, – уклончиво ответила она. – Не хотелось почему-то. Устала. Понимаешь, устала я. Ждать! Ждать! Ждать!

– Понимаю!

– Эх, что ты понимаешь, – вздохнула она. Посидела, помолчала и, видно, с огромным усилием, каким-то внутренним напряжением произнесла:

– Ну скажи мне, чего ты хочешь от меня?

Он каким-то безошибочным инстинктивным чутьем понял, что она сейчас задала, может быть впервые в своей жизни, самый важный, самый главный женский вопрос. И понял, что от того, как он ответит, зависит вообще все. Тоже посерьезнел, насупился. И ответ как-то сам собою необдуманно, но четко проговорился, будто и не он, а кто-то другой опять

сказал:

– Знаешь, что, Галь, я думаю? Я думаю, что нам надо быть вместе. Всегда. Надо пожениться...

И странное дело, будто что-то изменилось в уютной атмосфере этого домика. И какая-то внутренняя пружина разошлась в ней. Глаза повлажнели, и чуть дрогнули ресницы. Да и он почувствовал громадное облегчение, высказав эту свою заветную мысль. И в этой атмосфере он как-то так незаметно подвинулся к ней, приобнял, нашел губами ее губы. Она тоже мягко подалась, приникла к нему, обняла его широченные плечи.

Ах, Боже ты мой! До чего же сладким стал этот первый настоящий после долгой разлуки поцелуй. И долгим. Длинною во все эти три года...

Часть II. ТРАВЫ ПАХНУТ МЯТОЮ

I

Жили на свете два брата-близнеца. Во всем они были одинаковыми. В воспитании. Одежде. Образовании. Вместе учились в школе. И даже служили в одной части. Только потом один из них стал строителем, а другой – писателем. И жизнь их сложилась по-разному.

Никто не мог понять, отчего так случилось. Ведь все у них на первый взгляд было одинаковое. Даже гены.

Одного не учитывали люди. Что каждый из них получил от Бога бессмертную, единственную в своем роде душу.

А наша судьба есть только раскрытие нашей бессмертной души...

II

Дорога в аэропорт «Домодедово» веселая. Ровная, гладкая. Говорят, строили ее в порядке эксперимента немцы, а качество проверяли так. Поставили полный стакан с водою в салоне машины. И прокатились с ветерком.

Ни одной капли не пролилось.

Хорошая дорога. Вокруг светленькие березовые рощицы с зелеными полянками. Чистенькие домики. А в конце, у серого стеклобетонного здания аэропорта, стоит на постаменте раскрашенный в сине-белые цвета «Аэрофлота» Ил-18. Раскинул беспомощно крылья над землей. Ну точь-в-точь подбитый лебедь.

Давно ли сам Анатолий Казаков добирался домой на каникулы на таком «памятнике». Теперь на летном поле другие машины. Сквозь стеклянные стены аэровокзала видны могучие «тушки», грузные «антоны», стремительные «ильюши». Самолеты, как выброшенные на берег киты, беспомощно стоят рядами, ползают по бетону, тянутся к взлетной полосе. А потом неожиданно, в считанные секунды взмывают в свой синий океан. В небо.

Их семеро. Курсантов Высшей школы КГБ. Они летят в Алма-Ату. В столице Казахстана будет проходить американская выставка «Фотография в США». Им придется там поработать. Побывать на подхвате. Но это завтра, а сегодня они, счастливые и довольные, грузятся в самолет.

Молодые, здоровые, симпатичные. Все в синих спортивных костюмах, с одинаковыми сумками «Динамо». Официально, для публики, они борцы-дзюдоисты, летят на соревнования. Судя по всему, остальные пассажиры их так и воспринимают. Вон как заинтересованно смотрели на них при посадке девчонки-стюардессы. Видно, хочется им познакомиться.

Анатолий садится в первом салоне, в одиннадцатом ряду вместе со своим другом Алексеем Пономаревым. Для него до сих пор загадкой остается то, как Алексей попал к ним. У них особые приметы не приветствуются. А он рыжий. Да не просто рыжий, а с кудряшками по всей голове и веснушками на носу. Да ко всему еще при разговоре безжалостно картавит. «Может, дело в том, что отец у него генерал?» – иногда думает Казаков, но потом быстро-быстро прогоняет эти крамольные мысли. Комитет для него святое. Там, в обычной жизни, может быть блат, взятки, кумовство. А у них – никогда.

Он же помнит, как сам сюда попал. И сколько его проверяли перед этим.

Тогда он послушал рекомендации Маслова. И принес заявление. Ему сказали: «Иди, вызовем».

И понеслось. Сначала проверили всех родственников по всем базам данных. Не судимы ли? Не состояли ли? Не числились ли? В оккупации не были ли? Не алкоголики ли? Дошло аж до дедушек с бабушками.

И его самого как рентгеном просветили. Соседей по общежитию и то вызывали. Спрашивали о нем. Каков в быту? С кем дружит? С кем не дружит? По учетам пробили. Привлекался ли? Задерживался?

А сколько он сам бумаг назаполнял! Страшно вспомнить! Особенно анкет и тестов. Такие огромные бумажные портянки. И на каждой сотни вопросов. Сначала он пугался всего. А вдруг не так ответишь? Ошибешься? Позднее уловил некоторые закономерности этих вопросников. Когда один и тот же вопрос по-разному задается. Раз десять.

И где тут ловушка?

Ну а после теста иногда что-то всплывет. Анатолий вспомнил разговор с женщиной-психологом. Милая такая, румяная, домашняя тетка в своем белом халатике. Она его тогда огорошила новостью.

– Да вы, молодой человек, – отмечая что-то в блокнотике карандашом, ласково сказала она ему, – по складу характера разумный авантюрист. Любите спонтанные действия. И в то же время вы очень, очень осторожный человек. Редкий набор качеств...

Были и нерешаемые тесты. Их давали специально. Чтобы посмотреть, как человек реагирует на провал. Но это он узнал намного позже.

Н-да! Так вот потестили-потестили, порешали задачки, а к третьему курсу заговорили: «Вася, пойдешь следователем!». Или: «Петя, будешь готовиться в контрразведку!». Это если в ходе обучения выявится у тебя склонность к иностранным языкам. Ну а если такой склонности не обнаружится, тогда, как говорится, все дороги перед тобой открыты. В пятое управление – на идеологию. Борьба с сектантами, диссидентами и всякими другими врагами народа. Скучать не придется. Чтоб какого-нибудь главу «Свидетелей Иеговы» или «Адвентистов седьмого дня» прищемить, и в сортир его заглянешь, и в постель залезешь. Работенка еще та!

Если совсем к этому не тянет, можно пойти в шестое управление. Разбираться с экономическими проблемами. Отчего да почему на фабрике по производству презервативов, то бишь изделий номер два, производительность труда не растет. И качество изделий низкое. В поисках

ответов сам не одну сотню перемеряешь. Ну, это так, шутка. Кергуду, одним словом. А на самом деле велся набор специалистов всех отраслей народного хозяйства.

Можно и в седьмое попасть. Эти наружкой занимаются. Следят. За кем только не следят! Кого только не прослушивают! Над ними подшучивают: «Их поставили подглядывать, а они подслушивают!».

В девятом охраняют государственных мужей. И их жен. Ну и попутно опять же следят. Хотя это официально запрещено партией. Однако, к примеру, шофера к большому боссу на работу без благословения конторы не возьмут. А благословение дают только тем, кто соглашается потихоньку стучать.

В общем, «в нашей избушке есть разные игрушки».

Но такой карьерный путь – для сотрудников так называемой третьей категории. Здесь в основном молодняк. После школы.

Можно было проучиться пять лет в институте по специальности. А уже потом перейти в комитет. Такие специалисты тоже нужны. Но он не хотел тратить время на сопроматы, квантовую механику, физическую химию и прочие скучные материи. Хотелось действовать. Так что пошел в общем потоке.

Позднее он узнал, что есть и другие привилегированные пути. Те, кто двигается по ним, и будут сразу начальниками. Руководителями районных и прочих отделов. Это партийные и советские работники. Их набирают на двухгодичные курсы.

Через них осуществляется так называемый партийный догляд. Чтобы органы не отрывались от партии, не становились над партией. Чтобы партия знала изнутри положение дел в ВЧК – КГБ.

Учат хорошо. Толково. В первую очередь, конечно, марксизму-ленинизму. Это святое. Конспекты первоисточников у него оформлены высокохудожественно. Почерк округлый, читаемый. Он даже умудрился кое-что запомнить из классиков. Например, ленинскую работу «О государстве». Очень хорошо там обо всем сказано. Для чего существует «аппарат принуждения». Какие задачи стоят перед советским государством.

Естественно, всем курсантам дают стопроцентное юридическое образование. Это основа основ. Особенно его впечатлили тома учебников по западноевропейскому праву. Вот уж писали, не ленились. И чего там только нет! Все зарегламентировали. На каждый чих – закон. А основы заложили еще в Древнем Риме. Оттуда все и пошло. Вплоть до презумпции невиновности.

Пришлось попотеть над первоисточниками.

Ну и, конечно, психология. Куда же без нее?

Изучали методы работы и структуру спецслужб других стран. Американского ЦРУ, английской Ми-6, израильского «Моссада».

На старших курсах познакомились с историей разведки. И даже кое-какие конкретные операции разбирали. Странное дело. До школы работа «рыцарей плаща и кинжала» казалась ему сплошным приключением, в котором участвуют благородные тайные агенты наподобие Джеймса Бонда или полковника Абея. Но когда они стали конкретно разбирать ситуации, его сознание больно царапало реальные обстоятельства. Этот предал, тот продался за деньги, эта шпионила за собственным мужем. Там убили, здесь просто украли документы, где-то оболгали человека. И занимались таким ремеслом все – от лакеев до министров. Оказалось, что разведка всеядна – использует как лучшие человеческие качества, так и самые гнусные. Особенно видно это на методах вербовки агентов. Ловили их как на женщинах, так и на педофилии, педерастии, а еще жадности, злобе, ненависти. Идейных мало. Поэтому таких ценили особо.

Ну и, соответственно, наставники, понимая, что их подопечных будут «пробовать на зуб» по таким же параметрам, тщательно следили за ними, выявляя склонности и изъяны.

Постепенно, шаг за шагом, привлекали к профессии. Он прекрасно помнит свое первое индивидуальное задание. Преподаватель основ криминалистики дал ему фото. Причем самое интересное, что это был портрет их же курсанта. А еще точнее – сидящего сейчас в соседнем кресле его друга Алексея Пономарева. И поставил ему задачу:

– Ищи! Выясняй! Куда ходит? С кем встречается? Максимум информации о склонностях, привычках.

Тогда он с ним и познакомился. Отрабатывая задание на наблюдательность. Наверняка такую же дружескую проверку устраивали и ему самому. То-то ему пришлось попотеть, когда он обнаружил, что за ним как привязанный ходит молодой человек с соседнего потока.

Вспомнив тот эпизод, Анатолий, до сего момента подремывавший в неудобном, неоткидываемом кресле одиннадцатого ряда, усмехается.

Пришлось ему тогда гримироваться, менять внешность, переодеваться. Даже сбрил усы (как-никак лишняя примета). А ушел он от хвоста простенько. Стал на аэровокзале в очередь на автобус-экспресс. Ехать не собирался. Просто решил провериться. Заметил, что хвост приклеился за ним через три человека. В последний момент перед дверью Анатолий садиться не стал, а взял и вышел из очереди. Курсант и заметался. Выйти

тоже – значит засветиться. Не выйти, сесть в экспресс – Казаков уйдет.

Анатолий до сих пор помнит его смущенное, растерянное лицо: «Что, голубчик? Упустишь – получишь вздрючку от куратора».

А оторвался он от него уже в метро. Зашел вместе со всею толпой и сопящим, недовольным хвостом в одну дверь и быстро, перед самым троганием выскочил на платформу через другую. Да еще и ручкой помахал: «Большой привет!».

Труднее всего после студенческой вольницы было привыкнуть к новому строгому порядку. Жили в общежитии. По двое в комнате. Пришел – отметил. Ушел – отметил. На окнах, дверях стоят так называемые закрытые технические средства. По-простому – сигнализация.

Надо взять какую-нибудь книгу в библиотеке – пиши рапорт начальству. «Хочу взять такую-то книгу по специальности, к примеру, «Криминалистика». Преподаватель накладывает резолюцию: «Выдать». Книгу библиотекарь отметит в реестре: взял тогда-то, вернул тогда-то. Социализм – это учет и контроль.

Очень много спорта. В основном ребята налегали на единоборства. Но в зачет шло и плавание, баскетбол, волейбол...

В начале восьмидесятых в стране как прорвало – все полюбили каратэ. В школе его в чистом виде не практиковали. Использовали частично при обучении самозащите. Само по себе, хотя и окутанное таинственными ритуалами и наименованиями, каратэ было не более чем одним из видов единоборств. Но в СССР оно не прижилось – неожиданно попало под запрет. Было принято специальное постановление ЦК КПСС...

Прошуршала по проходу мимо них симпатичная черноглазая улыбчивая стюардесса в форменном передничке с тележкой. Повезла обеды. Анатолий внимательно посмотрел на ее круглую попку. И вздохнул. Леха-друг перехватил его взгляд и засмеялся.

– Чего ржешь-то? – обиделся Казаков.

– Эх, были бы мы свободные люди... – многозначительно произнес Пономарев и потянулся в кресле.

«Да, такие девчонки занимались в той секции каратэ! Мягкие, дебелие. Если бы их тогда не закрыли, не пришлось бы мне вздыхать и охать сейчас. И все это постановление. Как там было сказано? «В секциях каратэ готовят бандитов и хулиганов».

На самом деле все было не так. По сводкам комитета, в стране занималось каратэ более пятисот тысяч человек. Сложилась организованная сила, выпавшая из поля видения комсомола и прочих официальных органов. А тут как раз начались волнения в Польше. Во

время митингов и демонстраций профсоюз «Солидарность» выставлял против полиции тысячи спортсменов-каратистов. И они буквально сметали полицию во время шествий. Вот в ЦК и подумали: «А вдруг у нас что-нибудь подобное случится?». И издали постановление.

Он тогда ходил выявлял подпольные секции в школах, профтехучилищах. Под видом желающего постичь тайны единоборств записывался в них, а потом в рапорте указывал точное место, время занятий, фамилию тренера, методы, количество занимающихся.

А затем в один прекрасный день как гром среди ясного неба в спортзале появлялись оперативники с постановлением в руках.

Так что каратэ, что в переводе значит «пустая рука», и его сторонники оказывались на улице. А сэнсэй-учитель мог попасть и в другое место.

Когда умер Брежнев, для них кончилось тихое, спокойное время, названное кем-то застоем. К власти пришел их шеф Андропов. И начал закручивать гайки. Их тогда тоже привлекали на разные мероприятия по наведению порядка. Он до сих пор испытывает чувство какой-то неловкости, когда вспоминает облавы по магазинам и кинотеатрам. Видно, до конца еще не проникся осознанием своей высокой миссии. Или, проще говоря, несмотря на все усилия пропаганды, все еще совестился.

Залетали они тогда в магазины, закрывали двери и начинали выяснять личности всех, кто в рабочее время отоваривался здесь. Особенно много в таких случаях попадалось женщин. Оно и понятно. С утра она идет на работу, а вечером ей надо как-то кормить семью, мужа. Вот они и срываются от станка на час-другой в лавку, в очередь. А органы тут как тут. Бывали и слезы, и истерики, когда какая-нибудь толстая, как холодильник, тетка с огромными авоськами попадала под протокол. Сначала она принималась орать: «Сволочи! Держиморды!». А потом, когда ее прищучивали, мол, сейчас тебя оформим в «обезьянник», испуганно замолкала и только лупала глазами, прижимая к себе сумки с «Докторской колбасой» и кефиром.

Но и то время прошло.

Один раз сбоку припека ему довелось поучаствовать в серьезной работе. Как говорится, руку приложил. Следил за домом, в котором жил «объект». Черноволосый мужчина из НИИ радиостроения с характерным подбородком.

Конечно, он знать не знал о совещании, которое состоялось до этого на Лубянке. И о том, что на нем был поставлен аналитиками из контрразведки вопрос об утечке секретной информации о системе опознавания самолетов и кораблей «свой – чужой». Не знал он и о том, как вычислили через

первый секретный отдел НИИ радиостроения этого сотрудника. Не знал и фамилию «объекта». Он просто сидел в машине. Отмечал, когда он приходил на обед и уходил с обеда. Только по окончании этого нашумевшего в узких кругах дела Адольфа Толмачева Казаков понял, что участвовал в разоблачении настоящего шпиона. Шпиона, которого взяли с поличным, со всем его инвентарем, как-то: инструкциями ЦРУ, шифроблокнотами, деньгами, схемами встреч, средствами тайнописи, мини-фотоаппаратами.

И домой шпион приезжал не обедать, а переснимать на микро пленки секретные документы.

Анатолий гордился.

Так что теперь, подлетая к Алма-Ате, он слегка волновался: «А вдруг удастся на этой выставке отличиться? Найти что-то такое, такое...».

В мирно спящей Алма-Ате было раннее туманное утро, когда при посадке их «тушка» плюхнулась сразу всеми колесами на полосу. Анатолий копчиком прочувствовал ошибку пилота и даже выругался про себя: «Вот черт!».

Все остальное было прекрасно. Девчонка-стюардесса наградила его на выходе ослепительной улыбкой. Местные чекисты встретили их с микроавтобусом прямо у трапа. А город, по которому они мчались в сторону гор, – утренней тишиной, чистотой и прохладным ветерком.

Поселились они всей командой в лесном тихом и как будто пустом комитетском санатории, где в скудно обставленной комнате каждая вещь была снабжена инвентарным номером.

Едва они с приятелем кинули вещи и слегка умылись, как в дверь комнаты постучали. Надо было идти на завтрак, а потом на инструктаж.

После завтрака расселись в остекленном холле санатория. Из окон видны сосны, ели. Мягкие голубые кресла как-то не располагали к серьезному настроению. Рыжий с конопушками Алексей Пономарев шутил по поводу санаторных порядков:

– А сейчас нам, ребята, выдадут инвентарные номера. Пришьем их на видном месте, гм, чтобы не выпадать из общей гармонии учета.

Но когда в холл зашел вместе с их худощавым, подтянутым старшим какой-то помятый, полный, губастый мужик с круглым багровым лицом забубенного пьяницы, умолкли.

Старший представил:

– Майор Котов. Он будет заниматься с нами!

Майор достал список, разложил его на журнальном столике. Познакомился с курсантами. Потом начал ставить задачи:

– Выставка называется «Фотография в США». Размещается она во Дворце спорта. Идет неделю, но очередь не уменьшается.

По тому, как Котов интересно проговаривал букву «Ш», Анатолий понял, что родом он откуда-то из Белоруссии. «А как он сюда попал, интересно?»

Словно услышав эту его мысль, Леха тихонько потянулся к его уху и ехидно шепнул:

– Наверняка этот майор лет двадцать просидел где-то под крышей нашего посольства в Африке или в Азии, а потом его за пьянку бросили сюда на наружку. Перед пенсией.

– Вы будете работать на выставке под видом охранников, обслуживающего персонала, всяких там электромонтеров, шантехников, водопроводчиков. Наблюдать за контактами американцев. Задача ошложняется тем, што они свободно перемещаются по городу. Без ограничений...

«Нет, мне такая судьба, как у этого майора, не нужна, – неожиданно подумал Казаков. – Закончить карьеру в наружке топтуном... Я против».

– Ошобое внимание надо обратить на некоторых шотрудников выставки, – майор толстыми пальцами достал несколько фотографий. – Мы тошно знаем, што они являются кадровыми работниками ЦРУ и прибыли сюда с определенными задачами. Вот этот – Дэвид Кларк. Он часто выезжает в город. Бродит по магазинам. Видимо, изучает обштановку...

«Што ш вы его не шхватите?» – Казаков тихонько для себя передразнил Котова.

Вечер был свободным, и Анатолий Казаков решил позвонить друзьям. Только он вышел в просторный холл, где стоял телефон-автомат, как вспомнил, что у него задание и на выставке он работает под прикрытием. Надо было как-то обосновать свое появление в городе. И так объяснить, чтобы это выглядело правдоподобно. Он не знал, хорошо или плохо то, что работа его требовала скрытности. Но то, что она уже накладывала определенный отпечаток на его характер, было очевидно. Давно уже он

научился быть начеку, чтобы ненароком не ляпнуть лишнего. Давно понял, что в его конторе откровенность не приветствуется.

«Так, что они знают обо мне на сегодняшний день? – спросил он себя и сам ответил: – То, что я учусь где-то в военном училище. Так я говорил о себе в Жемчужном. Здесь, в Алма-Ате, расположен штаб пограничного округа. Пусть будет так. Я приехал сюда на соревнования. Например, на закрытое первенство погранвойск по троеборью».

Этой легенды он и решил придерживаться.

Звонок. Еще звонок. Длинные гудки. И наконец на том конце провода берут трубку. Приятный женский голос отвечает:

– Але!

– Здравствуйте! Я могу услышать Амантая?

– А кто его спрашивает? – живо поинтересовалась девушка.

– Это друг его. Из Москвы. Казаков.

– Минуточку, – и потом, видимо прикрыв трубку ладошкой, в сторону: – Аманчик, тебя!

«Интересно, кто же это его Аманчиком зовет?»

– Здравствуй, дорогой! – раздался в трубке голос друга. – Ты откуда?

«Какой-то он напряженный. Может, я не вовремя? Ну да ладно, я же не каждый день звоню».

– Здорово! Я здесь, в Алма-Ате. Приехал на соревнования.

– Ой, бай! Рад тебя слышать! – как-то уныло проговорил Амантай.

– Встретиться бы надо. Сто лет вас, чертей, не видел. Вы ж теперь все здесь. Я знаю. Шурка учится на журналиста. Вовуля поступил на биологический. Давай соберем всех до кучи. Посидим! – захлебнулся радостью Казаков.

Сам Амантай Турекулов, конечно, знал об этом. Он уже полгода как является освобожденным секретарем комитета комсомола университета. У него даже имеется свой, пусть небольшой, кабинет в отделанном мрамором шикарном административном здании в Казгуграде. С шестнадцатого этажа – высоты птичьего полета – открывается красивый вид не только на белые горы и зеленый город, но и на карьерные перспективы. Поэтому он не торопится бросаться в объятия старого друга. И пока идет такой ни к чему не обязывающий разговор, он мысленно прикидывает: а надо ли ему встречаться? Может быть, стоит уклониться от объятий? Как-никак он уже фигура в свои двадцать с небольшим.

А они? Амантай поморщился.

С Дубравиным они недавно виделись. Шурка – он такой. Конфликтный, слишком принципиальный. Его выбрали секретарем комсомольской

организации группы, а он уже поссорился с секретарем комитета комсомола факультета. Тот на него жаловался Амантаю.

Амантай прикинул плюсы и минусы. И решил, что плюсов больше. Надо встретиться. Да и хотелось похвастаться перед ребятами, чего достиг, показать.

Понятное дело, что, как в прошлый раз, к «Мертвяку» они больше не пойдут. Разговор он закончил просто, но твердо:

– Анатолий! Ты ни о чем не переживай. Собери ребят. И в среду я все вопросы порешаю, а в четверг встречаемся. Позвони мне.

Амантай вырос в казахской семье, где гостеприимство было не то чтобы нормой, оно было святой обязанностью. И хотя он уже усвоил сословно-иерархические, а также бюрократические тонкости приема гостей, все-таки простая благодарная память и чувство дружбы взяли в этот раз верх над вырабатывающейся чванливостью.

III

Он и правда все организовал. Выпросил у дяди машину на целый день. Договорился со знакомым секретарем комитета комсомола юридического факультета, который искал его покровительства (были уже и такие), о даче. Кое-чего прикупил. И ровно в назначенное время подкатил на черной цековской «Волге» к гастроному «Столичный», что в центре Алма-Аты.

Ранняя осень уже позолотила сусальным золотом резные листья кленов, засушила, осыпала серым пеплом увядающую круглую листву на тополях, прошла холодным дыханием по скверам и паркам города. Но фонтаны еще работают. А красиво застроенный центр города по-домашнему уютен. Они все поняли это, когда «Волга», набирая скорость, плавно пошла вверх по Коммунистическому проспекту в коридоре между огненными деревьями, а потом свернула около Новой площади с ее строгим комплексом дворцов, скверов, зеленых ковров газонов.

Амантай важно сидит на переднем сиденье. Руководит процессом. С тех пор как Казаков видел его, он сильно изменился. Нет больше худого, как жердь, с плечами словно вешалка аульского подростка с черной челкой над глазами. Лощеный, слегка располневший, одетый в дефицитные джинсы и спортивную замшевую куртку, он оставляет впечатление уверенного в себе, знающего себе цену «городского» казаха. Когда-то в Жемчужном он постоянно комплексовал, чувствовал себя ущемленным, задвинутым в тень. Теперь он внутренне ликует и гордится перед

друзьями. Всем своим видом он словно бы говорит: «Смотрите, чего я добился за эти годы. Завидуйте!».

У Шурки Дубравина такие же широченные вислые плечи. Так же в нем чувствуется какая-то скрытая за покоем неведомая сила. Но появилась и какая-то немолодая задумчивость, странная горечь, проступающая даже в улыбке.

Рядом с ними Анатолий кажется еще более подвижным, смешливым и веселым. Внешне он за эти годы изменился меньше всех. Разве что только после всех экспериментов над внешностью – бакенбардов, усов, немислимых клетчатых штанов и цветастых рубашек – он теперь выглядит весьма скромно. Короткая аккуратная стрижка поношенные джинсы, курточка. Студент, не студент? Так, приятный во всех отношениях молодой человек.

Странно начал меняться Вовуля Озеров. Был беленький, худенький, лопоухий мальчишка с тонкой шеей, выглядывающей из воротничка голубой рубашечки. И вдруг из того мальчика стал проступать мужичок. Волосы потемнели, кожа огрубела, полезла щетина. Не совсем, но почти другой человек.

Амантай показывает дорогу. Толька смешит народ шуточками. Машина мчит к горам. А пьянка начинается прямо в салоне. Все как у героев Ильфа и Петрова. Стоило им оказаться в автомобиле, как решили наливать. Так что, когда въехали на территорию садоводческого товарищества, где их уже встречал то ли друг, то ли подчиненный Амантая по комсомольской линии, уже были навеселе. Может быть даже, «навеселе» – мягко сказано.

Дачка небольшая, как все прилепившиеся на шести сотках у подножия гор. Кажется, что стоит выйти за ворота – и вот они, зеленые холмы. А потом все выше и выше, пока не дойдешь до снегов. Простор кругом такой, что взгляду некуда упереться. Рядом с дачным поселком аллея высоченных тополей. На них расположилась целая стая черных галок. Наблюдают за приехавшими. Кричат. Обсуждают. Изредка то одна, то другая слетают вниз, прохаживаются по пожухлой траве двора. Косят блестящим черным глазом. Потом взлетают к себе на ветку. Делятся новостями. Видно, что они не очень довольны соседями, которые немедленно вытащили громкую музыку и принялись разводить огонь, чтобы пожарить шашлыки.

На дачной веранде уже расставлены столы и стулья. Туда сносятся припасы из багажника: пиво в черных бутылках, водка с синими этикетками «Пшеничная» и «Столичная». (На «Пшеничной» изображено единственное в Алма-Ате по-настоящему высотное здание гостиницы «Казахстан».) Хозяин расстарался. Нарубил большими кусками огненно-

красные мясистые помидоры, навалил кольцами пахучей копченой колбасы. Тут же стоит в пластмассовых высоких бутылках с фирменными крышечками купленный непонятно где и по какому случаю кумыс.

Еще горит жар в металлической шашлычнице, дурманит, вызывает слюноотделение запах жарящегося мяса с луком, а они уже за столом. Эх, были бы с ними девчонки, не надрались бы они так. Старались бы выглядеть прилично. Ну а тут холостяцкая пирушка. Подняли тост за встречу. А потом пошло-поехало. Первая – колом. Вторая – соколом. А остальные – мелкими пташечками. Арак запивали пивом. Получался ерш. Коктейль страшной, убойной силы. Молодые, глупые. Каждый опытный питок знает: с чего начал, тем и заканчивай.

Амантай крепился. Старался ходить прямо. Но его все время таскало из стороны в сторону.

Вовуля перебрал. И раз пять бегал в кусты. Кидал харчи.

Только все начинал запевать песню. Но ее никак не подхватывали:

– Ой, то не вечер, то не ве-е-чер... – тянул он, то завывая в голос, то переходя на медвежий рык.

Взял слово Дубравин:

– За наших учителей! Знаете, чем дольше я живу на свете, тем чаще их вспоминаю. Есть такие люди, которые оставляют след в наших сердцах. К таким людям я отношу нашу дорогую Александру Михайловну, а также Кочетова, а также... э-э-э... Феодала Тобикова и всяких прочих добрых людей... э-э-э... А также я предлагаю...

– Да хватит тебе! – загалдели ребята.

– Поехали!

Шурка аж обиделся:

– Не перебивайте меня! А также хочу выпить за нашего дорогого отсутствующего друга Андрея!

– За Андрея! За Андрея! – завопили все. И выпили, так и не дав ему закончить тост.

– Тостуемый должен встать! – начал поучать народ Толька. – И тостующий тоже! Вот сейчас я буду говорить здравицу в честь нашего друга Амантая. А ты, Аманчик, вставай! Ты тостуемый. А я тостующий. Давай с тобой на брудершафт...

Это была молодая, веселая пьянка. А у кого таких не было? Спорили. Ругались. Но, слава Богу, до драки не дошло.

Гуляли до темноты. Потом на веранде зажгли свет. И под неумолчных сверчков пели песни. Пели и пили. Пока арак не сказал «йок». То есть пока водка не кончилась.

Между Амантаем и Шуркой завязался разговор. Как бы по душам, а на самом деле по службе.

Из ЦК ВЛКСМ спустили разнарядку. Обязали провести подписку на новый молодежный журнал «Студенческий меридиан». Обычное дело. Ержан, как всегда, собрал секретарей с курсов. Посовещаться. Кто сколько должен подписать экземпляров среди студентов. Все восприняли команду «под козырек». Один Дубравин полез в бутылку. Начал прямо на совещании разводить демагогию. Мол, подписка на журнал стоит аж пятнадцать рублей. Стипендия на факультете – сорок. Если высчитывать эти пятнадцать, как предлагается, из стипендии, на что жить? Тем более что некоторые студенты и стипендии не получают. И вообще, если журнал хороший, то люди и так подпишутся, а если плохой, то в следующий раз. Глядя на него, некоторые секретари тоже встали на путь саботажа. Переругались они там.

Дошло до него. Вот Амантай по дружбе, но напористо заговорил об этом:

– Зачем тебе надо было спорить на факультете об этом журнале?

– Аман, да неправильно это!

– Что неправильно?

– Такие разнарядки. Мне за журналистов стыдно. Они что, нормальный журнал сделать не могут? Убогие умом?

– Э-э, не нам судить. Наше дело – выполнять распоряжения, – уклончиво ответил Турекулов, прокалывая вилкой красный бок сочного помидора.

– Как не нам? А кому же? Журнал-то для нас предназначен! – недоумевал Шурка.

– Ну и что? Есть план. Его надо выполнять. Ты как будто маленький. Не понимаешь, что ли?

– Не-е, не понимаю. Пусть хороший журнал сделают. Тогда не надо будет никого заставлять.

Нашла коса на камень. Не понимали они друг друга. Упрямо отстаивали свои позиции и так и не смогли договориться. Хорошо, что пришел хозяин дачи с новой бутылкой водки. И начал наливать.

А поутру они проснулись. Хмурые. И больные. Руки трясутся. Рожи. Да, да, какие уж тут лица! Похмельные. Пока умывались, объявился

хозяин. Водки он вчера нашел только одну бутылку. А посему метнул на стол кумыс. Кумыс резкий и хмельной. Так что через полчаса они уже оживились, зашевелились. Всем надо по делам. А тут и машина пришла.

Сели в черную «Волгу». Окна запотели сразу. Шофер, молодой, вертлявый, крепенький мужичок, потянул носом хмельной дух и не выдержал, вздохнул с завистью:

– Да-а!

И добавил:

– Однако духан от вас крепкий.

Одно слово: погуляли. Культурно отдохнули.

IV

В большой аудитории, где за исписанными коричневыми столами мог собраться весь их поток, а это без малого сто человек, сегодня просторно расположилась только их группа. Ждали преподавателя казахского языка. Староста группы Несвелля Шакерова вела с ним длительные секретные переговоры. И сегодня информировала о них группу. Дело было в том, что толком никто казахский язык учить не хотел. Ни сами казахи, ни уж тем более русские студенты. Кроме того, у русских сложилось, мягко говоря, предвзятое отношение к этому предмету. Зачем им, представителям великой нации, изучать язык какого-то кочевого народа? Язык, в котором нет слов, обозначающих сложные научные понятия. Но зато, к примеру, более двухсот определений лошадиной масти.

В общем, имел место некоторый снобизм.

Да и сам преподаватель казахского – сын известного местного писателя – не внушал уважения. Он был запойный пьяница и бабник. И все на факультете знали, что с ним можно договориться.

Несвелля, интеллигентная, красивая, ухоженная казашка с тонкими чертами надменного, раскосого, смуглого лица, роскошные волосы уложены на голове в сложную прическу, рассказывала на чистом литературном русском, которым она страшно гордилась:

– Договорились так. Наши ребята встретятся с ним у «гармошки» и передадут всю собранную сумму. А завтра он проведет зачет. И всем выставит оценки. Поэтому прямо сейчас мы должны собрать деньги и передать их Дубравину и Ташкимбаеву. Они пойдут.

– Пойдем! С Ахметом! – пожал плечами Александр.

Честно говоря, за весь полуторагодовой курс изучения языка он усвоил несколько слов. А из выражений запомнил только одно: «Арэстан мен тульки». Это что-то о львах. Так что отступать и ему было некуда. Тем более не мог он отказать старосте. Ведь Несвелля помогала ему во всем. Она аккуратно вела конспекты. Давала списывать задания. Прикрывала его, если он пропускал занятия. И вообще, судя по всему, давно уже неровно дышала. В общем, они хороводились уже давно. Но Дубравин действовал по известному мужскому принципу: «Не люби, где живешь, не живи, где любишь».

Так что он держал дистанцию. Стараясь не переступить черту и не связывать себя обязательствами. Хотя как женщина она ему нравилась. У

нее тоненькая фигурка и большая, чуть вислая грудь. Ее хитрые черные глаза постоянно смешливо наблюдают за ним. А остренький язычок подначивает его, когда он по-деревенски начинает гэкать во время разговора.

Но у него свой свет в окошке. Галина.

Он, когда вернулся из армии, фактически сделал ей предложение. Правда, с отсрочкой исполнения. Решили, что он обязательно должен поступить в университет. А уж потом...

...Первое время студенчества он жил в семье у сестры Зойки. Но, вкусив свободы и независимости, тяготился этим. Ему больше нравилась вольная атмосфера общаги, где он и тусовался с ребятами. Поэтому, как только представилась малейшая возможность переехать, он ее использовал. В студенческом городке как раз сдали новое общежитие факультета журналистики. И он туда вселился.

Общага была неплохая. Разделена по секциям. В каждой секции две комнаты. На пять человек. У них свой душ. Свой туалет. И даже общий балкончик с видом на горы. А компания у них подобралась классная. Его студенческими друзьями стали интересные люди.

Витька Кригер, скуластый, с огромными белобрысыми бакенбардами немец, ни на секунду не расставался с фотокамерой – запечатлевал все перипетии их жизни.

Жилистый татарин Мирхат Нигматуллин здорово рисовал. И однажды представил портреты их всех на картине «Убийство Цезаря».

Из дальней кустанайской деревни из малограмотной семьи приехал Илюшка Шестаков. Малюсенького роста, но выносливый, он и учился, и работал одновременно. И так все пять лет.

Аристократом чувствовал себя бывший актер и боксер Сашка Рябушкин. У него нос как у Сирано де Бержерака, но манеры самые изысканные. А одевался он не в какие-нибудь индийские обноски, а во все самое фирменное и крутое.

Люди разные. Но жили дружно, по принципу «от сессии до сессии живут студенты весело, а сессия всего два раза в год».

Дубравин сразу определился с профессией. Факультет журналистики, или, как называли его ребята, передразнивая казахский выговор, «чурпак», не мог научить человека писать. Он просто давал общее образование. Студенты изучали «маразм» – ленинизм, иностранную, русскую, казахскую литературу, языки, фотодело, основы печати и многое-многое другое. Правда, была специализация по газетному, радио и телекурсам. Но нигде не учили главному. А главным в их профессии было умение

общаться с людьми. Собирать информацию. Анализировать. Обобщать факты. Давать им оценку. И мыслить. Мыслить нестандартно и образно. Хотя здесь он перегнул. Требовалось мыслить скорее стандартно и в русле идеологии, так как журналистов официально называли подручными партии. Кстати говоря, Дубравина это страшно оскорбляло. И когда кто-нибудь из больших начальников напоминал им об этом, он бурчал сквозь зубы: «Подручные бывают у палача. А мы и сами кое-что соображаем».

Александр Дубравин уже с первого курса понял специфику своего дела и стал учиться ему на практике. Сотрудничать с газетами. Подвигло его к этому не только похвальное желание учиться журналистике настоящим образом, но и денежная, точнее, безденежная ситуация. Стипендия у него, как у отличника, была повышенная. Аж пятьдесят рублей. Двадцатку в месяц присылали родители. Остальное до прожиточного минимума надо было добывать в поте лица своего. Что все студенты в общежитии и делали. Илюшка дежурил в пожарной охране. Мирхат рисовал плакаты. Витька Кригер печатал фотографии. Сашка Рябушкин фарцевал джинсами. Ну а Дубравин определился: «Если хочу быть настоящим журналюгой, то должен добывать свой хлеб пером». Он отказался подрабатывать грузчиком или строителем, а стал писать заметки. Сначала Витек снимал, а Сашок делал подписи и текстовки. Так, в четыре руки, и начали они молотить гонорары. Уже через год выяснили, где платят больше, а куда лучше не соваться. А платили хорошо за литературный труд не в самых известных газетах и журналах, а в разного рода ведомственных изданиях.

На каникулах он ездил в родную область, где уже трудился фотокорреспондентом немецкой газеты «Freundschaft», что значит «дружба», его одноклассник и соперник Андрей Франк. Он и познакомил его с немецкими мастерами пера, редакция которых к этому моменту тоже перебралась в столицу Казахстана и заняла один из этажей Дома печати, что возвышается возле азиатского «зеленого базара». Газеты и стали тем источником, из которого постоянно капал в его тощий студенческий карман тоненький денежный ручеек.

А летом в стройотряд. Потом к ней. Ах, лето! Какое оно было счастливое для него. То лето. Он тогда только-только закончил первый курс и, охваченный любовной горячкой, примчался в Жемчужное. И им было так хорошо, как бывает только в двадцать с хвостиком...

Жара. Июль. Теплый неподвижный воздух, настоянный на травах и хвое. Ночные купания голяком в теплой темной воде. Под звездами. И встречи. Торопливые встречи в тиши.

Тот вечер тоже показался сначала теплым и ласковым. До тех пор пока

неожиданно и словно неизвестно откуда не налетели, не наехали на луну и звезды темные тучи.

Небо нахмурилось. Ветер пробежал по верхушкам деревьев. Стало прохладно так, что на открытых участках кожи появились пупырышки. Вот-вот пойдет дождь.

Чтобы согреться, Галка прижалась, облипла его всем телом.

Но ясно, что так они продержатся недолго. А где укрыться от дождя? Негде! Только дома. Дубравин предложил:

– Давай напрямик по тропинке к нам через лес.

Легко сказать. Да не просто выполнить из-за тьмы египетской, которая окутала землю. Они вышли на тропинку. Сделали несколько шагов. И потерялись в крошечной лесной тьме.

А сверху, словно торопя их, звонко ударили по листочкам первые крупные капли холодного дождя.

Надо было что-то делать. И тогда Дубравин легко взял ее на руки и по влажной лесной тропе, на которой ноги разъезжались в разные стороны, смело пошел вперед. Она прижалась к нему теплым доверчивым телом, крепко обхватила его за крутую шею и так замерла в объятиях.

Глаза никак не могли привыкнуть к темноте. И он шел наугад, на ощупь до тех пор, пока прямо над их головами не лопнул гром. И не полыхнула аспидным синим цветом низкая молния. В этот миг Шурка наконец увидел тропинку.

Дождь хлестнул неожиданно. Дубравин покрепче перехватил свою драгоценную ношу и прибавил шагу, стараясь прикрыть ее своим телом от дождя. А тот уже неистово лупил его своими струями по согбенной спине.

Ветер мотал ветви деревьев. Мокрые листья хлестали Дубравина по голове, по лицу, но он, не чувствуя тяжести, смело шагал вперед.

...Они укрылись от бури в его комнате. Где-то за окном полыхали молнии, стучал по крыше град, а здесь в густом покое творилась тихая радость любви. Он наклонился к ней, поцеловал влажные, ждущие губы и тихо-тихо, так, что не поймешь, то ли это деревья шумят за окном, то ли ветер шепчет, проговорил:

– Я люблю тебя.

И, словно эхо в темноте, ответные слова:

– Я люблю...

У нее кожа словно атлас. Нежная. Гладкая. Мягкая-мягкая. Руки маленькие-маленькие. Пальцы тонкие, нежные. И чистое дыхание...

Вся она ждущая, любящая, желанная.

Горячие руки Дубравина не чувствуют препятствий. И уже ничего не

защищает их от самих себя.

Поцелуй. И еще поцелуй. Где-то в темноте белеет кофточка. Маленькая, ослепительно белая грудь с нежным соском... Его рука скользит по животу вниз.

И он чувствует, как она подвигается, подворачивается к нему.

«Господи! – думает он про себя в этот миг слияния душ и тел, чувствуя, как нежность переполняет, переливается через край. – Как будто домой пришел. И нет между нами ничего. Ни преград. Ни кожи...»

Смущенные и счастливые, они опять разъехались из Жемчужного в разные стороны. Он в стройотряд. Она на педагогическую практику. А зря. Время, неумолимое время делало свое дело. И роман в письмах не мог продолжаться вечно. Хотя письма все еще приходили.

«Здравствуй, милый мой!

Через час после того, как ты уехал, я тоже была в пути. Уже вечер, я опять среди своих девчонок. Они мне рассказывают новости, что тут произошло без меня. Я пытаюсь слушать, вникать, что же говорят, о чем, а перед глазами ты, твои глаза, губы. Только сейчас начинаю ощущать, что ты уже далеко, что тебя нет рядом. Светка сразу догадалась, что со мною что-то произошло. Я ей сказала только, что мы поженимся, и, наверное, скоро. Знал бы ты, какая она хорошая. И тут я вспомнила, что забыла дома твой адрес. Что же теперь делать? Если через два дня меня не отпустят домой, то тогда только через десять дней. Ты ведь будешь волноваться. Милый, видишь, какая я нехорошая. Не сердись. Мне грустно теперь только вспоминать об этой счастливой неделе, тосковать по тебе. Словно сон прошла она, эта неделя. Наша неделя. Хороший мой! Любимый! Я буду тебя ждать. Я думаю о тебе как о самом светлом и дорогом. Спокойной ночи. Целую тебя».

– Саша! Очнись! Вот деньги! Завтра расскажешь, как было.

Нелька Шакурова лукаво стрельнула на него черными глазами. Сунула ему в руку белый узкий конверт для преподавателя казахского языка. И хитро улыбнулась.

– Да чего там рассказывать! – Дубравин кивнул Ахмету и Мишке Нигматуллину. – Нальем ему в кафе стакашку красного. Он и расколется. Так, Ахмет?

– Так, так! – согласно закивал пробивающимися усиками Ташкимбаев. – Все сделаем как надо. Передадим. А сейчас уже пора на репетицию. А то опоздаем.

V

– Есть! – Амантай дрожащей, влажной от волнения рукой осторожно берет партийную анкету.

Сколько он мечтал об этом моменте! Как часто представлял себе это мгновение. И вот надо же – все так обыденно. Знакомый Калининский райком партии. Молодой инструктор из бывших комсомольцев. Короткий разговор у секретаря по идеологии. И вот он уже спускается с черным портфелем в руках по бетонным ступенькам райкома на площадку к машине.

«Главное теперь – не испортить. Заполнить правильно. Другой не дадут. Они все номерные. Надо будет потренироваться. И зайти перед окончательным заполнением в орготдел. Потом собрание. Но это скорее формальность. И, о бай, он кандидат в члены КПСС. А дальше все пойдет почти автоматически. По накатанным рельсам. Член КПСС... Секретарь райкома... обкома...»

У него даже дыхание остановилось от открывшихся перспектив.

Только одно тревожит, саднит. Вчера у него состоялся разговор с дядей Маратом. Никогда Амантай не видел дядю таким. И вот надо же! Агай Марат жестко отчитал его. А он так надеялся! Выбрал удобное время. Полный радушных планов пришел к нему домой. Все рассказал.

Да. Не думал, не гадал он, что его поход на день рождения к Альфие обернется таким образом. Уже год, как он снимает в городе квартиру. И живут они там вместе. Встают вместе. Ложатся спать. И до сих пор не насытились друг другом.

Получился у них не медовый месяц, а целый медовый год.

Его торе-княжна расцвела за это время новой красотой. Налилась покоем, пополнила слегка. Но была так же желанна и неутомима в любви.

Так что, когда она, бывало, «садилась в седло сверху» и начинала мягко, но мощно двигаться, он с замиранием сердца вглядывался в красивое нахмуренное лицо подруги, сжимал зубы и старался держаться

«до конца».

Жили хорошо. Несмотря на свою природную красоту и гордость, Альфия была все-таки настоящей восточной женщиной. Она не рассуждала о любви. И за все это время ни разу даже не сказала ему об этом. Но она так возилась с его конспектами, так старалась сделать ему приятный подарок к каждому празднику, так внимательно и доверчиво слушала его рассказы о хитросплетениях карьерной борьбы, что было ясно: она приросла к нему душой.

Иногда он просыпался по ночам и пытался понять происходящее. «Как так получилось, что она, такая красавица, утонченная, почти как сказочная пери, выбрала его? Да она могла любого выбрать. А выбрала меня! – и от гордости у него даже распирало грудь. – Вот мы какие! Из рода жатаков. У нас все самое лучшее. У дяди Марата жена – красавица и у меня. То-то он обрадуется, когда я ему скажу, что собрался играть свадьбу. Да покажу Альфию!»

Ну а тут у них проблема получилась. «Как и, самое главное, когда это произошло? Может, по моему приезду из командировки? Ох и ночка тогда была! Эх! Горячая ночка». И Амантай вздохнул от будоражающих воспоминаний.

В общем, надо было решаться. Однако разговор с дядей пошел какой-то не такой. Они сидели на кухне большой пятикомнатной квартиры в цековском доме. В тенистом уголке Алма-Аты. В квартале, где недалеко находится двухэтажный коттедж самого великого Димаша Ахмедовича, а говорили как в какой-нибудь захудалой юрте, в самом дальнем ауле. Нервный был разговор. Дядя выслушал его, как выслушивает мудрый ата глупого-преглупого балу. Ребенка. А потом терпеливо, стараясь не сорваться в раздражение, заговорил сам:

– Значит, ты уже все решил. Как можно решать такой важный вопрос, не посоветовавшись со старшими, с родственниками? Я, конечно, не какой-нибудь бабай аульный, который не может тебя понять, – дядя Марат вздохнул: видимо, вспомнил свою голоштанную молодость. – Но я советовался в таких случаях со старшими.

Потом как бы смирился. Спросил не так строго:

– Ну и кто она? Откуда? Кто ее родители? Родственники?

– Альфия! – облегченно вздохнул Амантай. – Она из Петропавловска. Отец – казах. Мать – татарка. Отец работает начальником дорожно-строительного управления.

Он нарочно подчеркнул эти сведения, зная, что для дяди важно, кто кем является.

Но увы и ах. На Марата Карибаевича эти сведения хорошего впечатления не произвели. Наоборот, он как-то нахмурился и расстроился. А Амантай, даже заметив это, все равно продолжал бубнить свое:

– Агай! Она любит меня!

Но и тут дядя не помягчел:

– Женщины хитрее нас. Может, она тебя просто использует. Видит, что ты молодой, перспективный, жизни не видел. А тебе все в розовом тумане кажется.

Он отставил холеной рукой расписанную пиалу с индийским чаем на столик. И привычным жестом поправил уже начинающие сесть волосы.

– Я ее люблю! – отчаянно заявил Амантай.

Впервые ему приходилось спорить со старшими. От этого было немного не по себе.

Дядя, давая понять племяннику, что он не намерен дальше обсуждать этот вопрос, ответил жестко, как отрезал:

– Она не из нашего жуза!

И все. Пропало Амантаево счастье.

Агай, его любимый дядя, на которого он только что не молился и старался во всем походить, так и не понял его. Отказался понимать.

«Как же так? – удрученно думал Амантай. – Ведь он всегда был таким современным. Говорил, что мы должны быть выше всех этих племенных и родовых предрассудков. Что надо судить о людях по личным достоинствам и недостаткам. А где же теперь правда? Как понимать? И что теперь делать? Ой, бай! Что скажет он Альфии? Обратиться к отцу, чтобы он повлиял, поговорил с дядей?»

Амантай вспомнил последний приезд отца в Алма-Ату на партийное совещание. Каким жалким он ему тогда показался со всеми этими своими бумажками, тезисами. С этой своей наивной, какой-то детской верой в то, что пишут в передовицах «Правды» и закрытых письмах ЦК КПСС. А теперь просить его – это значит настраивать против дяди Марата. Амантаю стало даже не по себе от такой мысли: да если бы не дядя, где он был бы сейчас? «Ох-хо-хо!»

«А может, действительно наплевать на все? Пойти в загс, подать заявление. И расписаться. Но тогда что будет? Что будет?»

Он вспомнил, какое у дяди было сердитое, жесткое лицо при их разговоре. Как на пленуме по сельскому хозяйству. «А что он сказал в конце, когда я уже уходил? Что-то он такое сказал... А? «Не надо торопиться. Он сам подумает, какая Амантаю нужна невеста».

«Никто мне не нужен, кроме Альфии! – вспыхнула обида в сердце. –

Лучше бы нашел жениха своей Розке! Уж такая она толстая, как сдобная булка. И все вешается на парней. Тоже мне родственница!»

VI

Начато все это было почти месяц назад, когда в чью-то партийную башку залетела «оригинальная мысль» – провести октябрьскую демонстрацию торжественно и пышно. В итоге студентов всех высших учебных заведений Алма-Аты снимали с занятий, одевали в спортивные костюмы, давали в руки длинные палки, долженствующие изображать красные стяги. И заставляли ходить вокруг квартала и площади, где располагался Дом правительства.

Сегодня репетиция затянулась. Студенты-краснорубашечники уже в третий раз с шуточками и прибаутками приближаются к площади. Затем выстраиваются в красные шеренги, выравниваются. Звучит команда: «Пошли!». И под звуки бравурного марша бодро маршируют по площади мимо огромного черного памятника Ленину, мимо высоких колонн Дома правительства к виднеющемуся зданию универмага «Столичный». В их вытянутых руках трехметровые палки. Ноги в одинаковых красных революционных штанах и синих кроссовках бодро печатают шаг. То и дело из мегафона раздается командный голос:

– Вторая шеренга, подравняйся! Кто там опустил флаг? Поднять на общий уровень!

Прошли. Остановились. Еще один заход.

Дубравин тоже в красном трико и шапочке. В шестой шеренге, третий с левого края. Рядом Илюха Шестаков и Мишка Нигматуллин. Их всех угнетает нудность и бессмысленность времяпрепровождения. И, желая хоть как-то развлечься, ребята то устраивают в колонне шуточную потасовку с применением «флагов», то разыгрывают дурацкую пантомиму. Вот как раз Рябушкин «сцепился» с Нигматуллиным. Изображают из себя рыцарей с копьями.

Прошли площадь. Остановились на Коммунистическом проспекте напротив универсама.

В рядах ворчание: «Доколе наши командиры?».

Некоторые вышли из колонны, присели на бордюр, на газон, на травку.

Дубравин решил использовать образовавшийся перерыв, чтобы прочитывать письмо от Галинки Озеровой. Он перед репетицией заходил на главпочтамт и получил его в отделе «До востребования».

«Доброе утро, милый!

Вчера сбежала с сельхозработ с одной девчонкой. (Хотя у нас

последний курс, все равно послали). Она живет в Петропавловске, домой ей ехать далеко, и, чтобы она одна не скучала, я взяла ее с собой. Было очень жарко, пыльно. Мы очень устали, пока добрались домой. Я ей показывала наше Жемчужное. Как оно ей понравилось! Мы ходили гулять по лесу, по улицам. Я шла и вспоминала: здесь мы с тобой гуляли, а вот там, у школы, ты всегда ждал меня, проходили мимо детского садика. Вот и все кончилось. Даже не верится, что так быстро все прошло. Словно сон была эта неделя, наша неделя...

Не грусти, милый. Все это временно. И наступит этому конец. И ты вернешься.

Мне иногда кажется, что все прошедшие годы – хорошая сказка. По-настоящему я себя ощущаю и живу только сейчас. Бывает всякое: горечь, разочарование, радости. Но все это приходит и уходит. И впереди все это. Так оно и будет. Радости мало. И чему радоваться? Одно слово – тоска.

Ты один – радость, горе, печаль, счастье мое. Один ты во всем мире. Ты и я. Мне приснилось, что ты приехал. Значит, скоро приедешь. Это к лучшему. Вообще, я стала суеверная. Начинаю верить всяким глупым приметам. Сама хихикала над девчонками, а теперь...

Сейчас мы в совхозе. Работаем ночью на току. Днем спим. Мальчишки сельские такие нахалы. Лезут даже в окна, невозможно жить по-человечески. Ругаются. Кошмар. Будем здесь до первого ноября.

Людка Крылова говорит, что я с каждым днем все хорошею. Стараюсь, хоть уже и «старуха». Мама смеется: «Таньку раньше тебя замуж отдадим. У тебя нет жениха, а у нее есть». Я сказала, что ты мой жених. Все как сговорились, спрашивают, когда поженимся. Удивляюсь, смущаюсь и говорю, что еще не скоро.

Что тебя мучает? Пиши все. Я хочу знать. Дорогой мой, не мучь себя. Не тревожься. Все будет хорошо...»

– Стройся! Чего расселись? Еще заход сделаем. Но уже как следует, – зашумел распорядитель со «стертым» лицом и красной повязкой на рукаве.

Студенты нехотя принялись вставать с травы и бордюра. Лениво становиться в шеренги. Всем уже осточертела эта репетиция всенародного ликования.

Дубравин спрятал беленькое письмецо в карман трико и пошел к ребятам. «Тоска зеленая. Достали с этой репетицией. Ну, кажется, опять тронулись. Нет. Остановились. Черт бы их побрал. И кому все это нужно?»

Вчера он с друзьями ходил на выставку «Фотография в США». Выставка расположилась во Дворце спорта. И заняла всю арену. Народу тьма. Когда они подошли к дворцу, там стояла гигантская, извивающаяся,

как змея, человеческая очередь. Двигалась она достаточно быстро. Любопытные, видимо, оставались там недолго. Да и понятно. Выставка оказалась так себе. Но им она была интересна как профессионалам. С точки зрения фотожурналистики.

Ну что ж, качество аппаратуры будет у них получше. Это они все отметили. И взгляд на действительность свой, оригинальный. А вот что касается профессиональных, журналистских фотографий, то их практически не было. Так что покрутились они там, пытались общаться с работниками выставки. А потом плюнули на все и поехали в общагу.

В эту осень им почему-то игралось в карты. Ни до этого, ни после Дубравин никогда не испытывал такого азарта. А сейчас они сдвигали в ряд все три деревянные кровати. Надевали свои красные трико. Всей кучей «боевой, летучей» усаживались на этом импровизированном помосте и начинали резаться в дурака или преферанс. Это была песня. Точнее, бешеный порыв. Скрипели кровати. Летали короли и валеты. Дым коромыслом. Вопли победителей. И бесконечные закарточные разговоры. Вся общага уже знала, что краснорубашечники засели до утра. Иногда к ним присоединялись ребята из других комнат. Каждый из них получил свое прозвище. Дубравина за его пламенные спичи и речи на этих сходках прозвали Вождем.

Диспут обычно начинался с того, что хитрый татарин Мишка Нигматуллин задавал тему. Ну, к примеру. Побьет он козырным тузом даму треф. И брякнет как бы невзначай:

– А что это у нас такой странный на сегодняшний день состав студентов на факультете? Был вчера на казахском отделении. Так там набрали аж сто человек. Да у нас на русском их больше половины. Вот и получается, что в нашей многонациональной республике казахов меньше половины населения. А на факультете их восемьдесят процентов. На юрфаке – там вообще тьма. В философы их много подалось. А где же наша национальная ленинская политика? Где равенство народов?

Обычно в полемику чаще всего вступал Дубравин. Он тоже отвечал с подковыркой, ерничая:

– Так партией поставлена задача – создать казахскую интеллигенцию. Вот и стараются. Помнишь, как нам один препод рассказывал про тридцатые годы? Как их, молодых, ловили на зеленом базаре и отправляли насильно учиться в Москву и Ленинград.

– А задачу создать национальный рабочий класс разве не поставили партия и правительство? Что-то я их на стройке не вижу, – добавил Илюха Шестаков, раздавая колоду по-новому.

Из угла, полулежа, подбрасывал козырь Рябушкин:

– И че брешут? Все брешут. И брешут! Лапшу нам на уши вешают. Так бы и сказали. Русские, хохлы да немцы пускай работают, а коренная нация будет управлять. Посмотри, что у нас на факультете делается. Да и среди преподавов тоже.

Что делалось на факультете, все и так знали. Еще несколько лет назад деканом факультета журналистики был всеми уважаемый Михаил Иванович Дмитроцкий. Душа-человек. Горячо любимый всеми интеллигент.

Но когда ректором стал Ураз Джолдасбеков, ситуация начала стремительно изменяться. Вот, казалось бы, в научной среде все должности выборные. Но под нажимом ректора почему-то избирались только нужные ему люди. Способствовала этому и грызня среди преподавателей. Очень уж они были самолюбивы и по-дурацки принципиальны. У всех на факультете была на слуху история с доцентом Колесковым. Он единственный на факультете защитил докторскую диссертацию по жанрам журналистики, придумав свою теорию о том, как пишутся очерки, зарисовки, информации. Казалось бы, молодец. Но другие русские преподаватели из зависти стали писать на него разгромные рецензии, травить его в печати, цепляться по поводу и без повода. Итог. «Схарчили» его ученые дураки. Вынужден был бросить кафедру и уехать в Россию. В воронежский университет. И пока они так жрали друг друга, новый декан, туповатый, малограмотный, мелочный и мстительный профессор Кожанкеев, так всем завернул гайки, что мама не горюй.

Вольница закончилась. Начались репрессии против студентов. Кожанкеев окружил себя холуями, которые с утра до вечера вынюхивали, выслеживали студентов и преподавателей. Строчили доносы, вели контроль за посещаемостью, включали репрессии против чересчур умных. В общем, на творческом «пакультете» сложилась, мягко говоря, нездоровая обстановка.

Взвыли не только русские студенты и преподаватели. Казахи тоже. Простым аульным казачатам, приехавшим в столицу набираться ума-разума, доставалось больше всех. Доходило до того, что Кожанкеев вызывал их к себе в кабинет. И лупил по мордасам прямо там.

Но ради высшего образования, ради будущего люди терпели.

Дубравин с его несговорчивостью мог легко стать жертвой репрессий. Хотя он и старался не задираться, не лезть в бутылку, все равно было видно, что парень он внутренне независимый, с характером. Это раздражало и декана, и его подручных.

Но его прикрывала староста группы Несвелля Шакерова. Эта красавица казашка имела какое-то влияние на Кожанкеева. И Дубравина особо не притесняли. Более того, выбрали комсомольским вожаком. Отличник. Первый в работе. Комсорг. Неплохо пишет. Что еще надо начальству?

– Саня, смотри! – он очнулся от своих размышлений, воспоминаний, когда Мишка Нигматуллин окликнул его.

– Чего?

– Глянь, вон на остановке вчерашний американец стоит. Ну, тот, с выставки.

– О, точно!

Да, на выставке «Фотография в США» они как раз общались с этим длинным, с вислыми усами, замерзшим взглядом и покрасневшим от холода носом. Он их нагрузил тогда разными буклетами, гляцевыми альбомами с роскошными цветными фотографиями. Интересно, что он тут делает? Может, поговорить с ним? Глядишь, какую-нибудь заметку можно написать об этой выставке. Да если еще и с небольшим интервью! В газетах с руками оторвут. И вообще, что они за люди, эти американцы? О чем думают? Чем дышат?

– Может, подойдем?

– А что, давай!

– А палки куда?

– Проход-то последний. Отдай Илюхе, пусть отнесет к грузовику, где реквизит лежит.

– Айда!

И они вдвоем выскочили из проходящей по улице колонны, перепрыгнули через ограждение и подошли к крытой автобусно-троллейбусной остановке, где в группе людей выделялся своим ярко-желтым клетчатым длинным демисезонным пальто, а также высокими шнурованными ботинками давешний гид.

– Привет! – как старому знакомому, бросил Дубравин американцу. – Что стоим?

– Здорово! – панибратски махнул ему Мишка.

На усатом, красноносом лице гида появилось выражение недоумения и испуга. Вдруг из проходящей толпы выскочили два непонятных типа в красных штанах и рубахах. И к нему. Уж не провокация ли?

– Мы вчера были у вас на выставке, – стал объяснять Дубравин. – Помните? Молодые журналисты.

– Да! Да! – закивал головой американец, стараясь изобразить свою знаменитую улыбку.

– А вы что здесь делаете? – напрямую спросил Мишка. – Наверное, вам интересно, что у нас и как происходит?

– Да! Да! Интересно! – облегченно добавил тот, приходя в себя.

– Скоро у нас будет праздник, – попытался пояснить свой наряд Дубравин. – Вот к нему и идет большая подготовка.

– Да, это у нас тренировка. Перед демонстрацией. Перед седьмым ноября.

– Разве может быть тренироваться демонстрация? – удивленно округлил глаза Кларк.

– У нас все может быть. Ё... – зло сплюнул на асфальт Дубравин.

Стоящие на остановке люди с интересом начали прислушиваться к их разговору. Одна на вид пожилая, но странно шустрая женщина даже вышла откуда-то из глубины остановки и стала внимательно разглядывать странных студентов, так запанибратски общающихся с иностранным подданным. Она почти влезла между разговаривающими.

Дубравин понял, что они тут торчат, как три тополя на Плющихе, в своих красных спортивных костюмах. Да еще этот Кларк, ярко выделяющийся своей американской внешностью. Надо куда-нибудь укрыться. Или договориться о встрече.

– Слушай! Давай встретимся завтра где-нибудь. Поговорим! А? Расскажешь, как тебе тут в Казахстане.

– Да! Да! А где будем встречаться?

– Давай возле библиотеки Пушкина. На перекрестке Абая и вот этой улицы Коммунистической.

– О-кей! – ответил Кларк.

И они, пожав друг другу руки, разошлись.

Анатолий Казаков сегодня на себя не похож. Кожаное черное пальто, шляпа-пирожок и очки с толстыми стеклами сделали из молодого, спортивного парня нечто среднее между молодым ученым, комсомольским деятелем и преуспевающим фарцовщиком. А главное – он неузнаваем. Что, собственно говоря, и требуется в наружке.

В таком прикиде он продефилировал от остановки троллейбуса мимо черного, взметнувшегося застывшим взрывом меди памятника героям-панфиловцам до спрятавшейся на аллейке скамеечки и молча подсел к сотруднику, которого должен был сменить.

– Ну, как сегодня? – спросил он своего рыжего конопатого кореша, сидящего с открытой газетой «Правда» в руках.

– Зафиксирован незапланированный контакт, – тихо ответил Алексей. – Какие-то ребята выскочили из колонны, которая шла по площади. Студенты, что ли. Общались с объектом, может, минуты три. Цветочек их засекла. Сейчас их устанавливают.

Анатолий лишних вопросов не задавал. И так все понятно. «Цветочек – это женщина-агент, работающая под личиной пожилой любопытной гражданки. Объект – это сотрудник выставки Дэвид Кларк. Устанавливают – значит выясняют личности, место жительства тех, кто встречался с объектом на улице. Обычная практика. Сейчас ребят остановят на улице переодетые в сотрудников милиции агенты КГБ. Попросят предъявить документы под предлогом, что они якобы похожи на каких-нибудь разыскиваемых. Узнают ФИО и отпустят. Но после этого за ними пойдет агент наружки. Организуют скрытое наблюдение. Выяснят, был ли этот контакт случайным.

Кларк, судя по их данным, кадровый сотрудник. Работает под крышей посольства. А вот теперь пожаловал сюда с выставкой. Гидом.

– А где он сейчас? – спросил о подопечном Анатолий, застегивая на все пуговицы кожаное пальто, взятое напрокат.

– Зашел в музей. С девушкой.

– Какой девушкой?

– Из Москвы к нему приехала. Красивая. Лицо надменное. Полненькая. Похоже, наша, русская. Да вон они выходят под ручку.

Из бокового входа храма, превращенного в музей, показалась парочка. Долговязый в желтом в клеточку пальто мужчина и красивая дивчина. На фоне до пестроты разукрашенного храма, разноцветные купола которого плыли в вышине над осыпающимися деревьями парка, они выглядели странно. Анатолий сразу вспомнил Валентину с их факультета.

«Как давно все это было. Не постарела. До сих пор, значит, тянется у них этот роман. Уже и Олимпиада прошла. А они все ходят».

Он не боялся, что Валентина тоже узнает его. Внешность, манеру поведения, голос его научили менять. Ему нет необходимости вступать в контакт с ними или маячить перед глазами. Сегодня он фронт в кожаном пальто. А завтра или через час превратится в бродягу, алкаша. С бутылкой и пакетом в руках. И пройдет он мимо них небритый, с фингалом, в драном ватнике – неузнанным.

Долго сегодня водил их американец по городу. Так, что их группа из нескольких человек, можно сказать, сбилась с ног. Чтоб не засветиться,

состав пришлось менять. Ушла Цветочек. Присоединилась какая-то долговязая девица. Впрочем, здесь никто никому особо не представлялся. Все понимают, что в их «конторе глубокого бурения» откровенность не приветствуется. Да и, судя по пристальным взглядам старших товарищей, за ними самими параллельно тоже наблюдают. Как они себя ведут на деле? Что умеют? Не теряются ли в сложной ситуации?

Один раз эта парочка чуть не оторвалась. Спряталась в подъезде большого дома. Что делать? Как проверить? Где они? Чем занимаются? Может, целуются? А может, к кому в гости зашли? Тут Алексей отличился. Предложил майору Котову:

– Давайте я притворюсь пьяным. И как бы по ошибке забреду в подъезд. Понаблюдаю.

Одобрили. Он быстро глотнул водки. Чтоб запах был. (И где ее только успели взять?) И вломился в парадное, так естественно покачиваясь и что-то бормоча себе под нос, что ни у кого сомнений не осталось. И прямо сразу наткнулся на голубков. Зажимались. Ну, он не растерялся. Дохнул перегаром. И завел беседу:

– Етта какой дом? Етта не мой дом! Скажиття, етта здесь проживает Паша Бурлов?

Парочка шарахнулась от него как от чумного. Американец – тот прямо как пробка из бутылки вылетел из подъезда.

VII

«У любви тоже возраст свой. И свои сентябри и маи», – Галинка Озерова незаметно для себя потихонечку мурлыкает эту песню, энергично вышагивая по освещенной вечерними фонарями главной улице Усть-Каменогорска, мимо витрин уже закрывающихся магазинов и загорающихся окон квартир. Она идет в гости. В сумочке рядом с конспектами по химии у нее лежат ну просто чудные, замечательные детские вещи. Розовый чепчик, ползунки, кружевное платьице. Через третьи руки: завскладом – директор магазина – товаровед – достала она эти вещички. И сейчас несет их подруге.

Стук в дверь. Открывает весь растрепанный однокурсник Колюшка. В провисших тренировочных штанах и майке. Кудрявая голова в пуху от подушки. Лицо удивленное, но веселое. А вот и Танюшка. Измученная. Халат в крапинку навыворот. Но вся сияет. Цветет. И пахнет пеленками и молоком. На руках у нее сверток. А там кто-то чмокает и хлопает

беззубым ртом. И еще торчит чья-то розовая ножонка с крошечными пальчиками.

Галинка стоит и смотрит. И так ей хочется иметь свое такое чудо. Так вдруг, до боли внутри, до стеснения в сердце, до слез ей хочется иметь ребенка...

И уже возвращаясь из гостей к себе на квартиру, она все ведет и ведет мысленный диалог с ним: «Я просто устала. Понимаешь ты, устала от этой нескончаемой разлуки. Хочу, чтоб ты был рядом. Ощутимо. Чтобы можно было тебя потрогать, прижаться, улыбнуться. Я ведь давно не девчонка, а у меня, кроме тебя, никого!

Годами я живу тобой!

Мне скучно. Мне до ужаса одиноко. И тоскливо. Ах, какая я эгоистка! Думаю только о себе. От злости у меня даже слезы капаят. Истеричка я!».

Так получилось, когда встал вопрос, где ему учиться, она с женской пронизательностью и невесть откуда взявшейся твердостью заявила:

– Не хочу, чтобы ты был «пропащим», как и я. У тебя есть мечта. Надо ее исполнить. А я подожду. Я сильная.

Так и получилось. Он поступил «на журналиста». А она осталась. Еще не понимая себя. Не понимая того, что волевые, правильные с житейской точки зрения решения натолкнутся на древние как мир инстинкты. Ей уже за двадцать. И, как будто ниоткуда, появилось это неотрывное, навязчивое желание, чтобы кто-то был рядом. Чтобы можно было его коснуться. Спать рядом. Обнимать, целовать.

Он приезжал на несколько дней. Это было счастье. Любовь захлеб. Им обоим казалось, что так будет всегда. Молодые, глупые. Они и не подозревали, что природа, та тайная внутренняя природа их самих, рано или поздно положит предел. И что если человек не вписывается в природный ритм, то наступит дисгармония, невроз, разрушится все, что еще вчера казалось им незыблемым и вечным. Они хотели остановить время. Но ничто не может гореть вечно. Даже сердца. Все должно измениться. Или закончиться.

А они не понимали, что с ними происходит. И от этого, словно связанные единой цепью, бились друг о друга до крови. И никак не могли решить, что же им делать. Она мучила его молчанием. Чувствовала, что ужасно устала. Устала от всего. Ей казалось, что жизнь, настоящая жизнь проходит как-то мимо нее. Она не ощущала ее пульсирующего ритма.

В хандре писала ему коротюсенькие холодные письма. А он ну никак не понимал, что ей уже давно пора замуж, что надо принять волевое решение, с которым она, как все любящие женщины, сразу же легко и

весело согласится. Только бы не было этой затянувшейся неопределенности. А он просто вспыхивал от этих писем. И отвечал ей: «Да ты меня и не любила! Живого. А любила какого-то выдуманного!».

И снова тянулась нить обидных размышлений. «Да, он мужчина. И как у него все просто получается! У меня тут все переворачивается вверх дном. А у него язык поворачивается такое сказать! Да что он знает о женщинах! Я не умею быть очень ласковой. Я не умею быть нежной. Я больше храню в себе. Пусть перекипит, переклоочет во мне самой. Господи, как мало он меня знает! И как мало я еще сама себя знаю. Но любовь-то была. Ведь была она! Я ее чувствовала, хотя он был за тысячи километров. Я просто не могла ее тогда объяснить».

Еще вчера для нее так важно было учиться. Сдавать экзамены. Ходить в кино. Подруги. Сегодня все это вдруг утратило какое бы то ни было значение. Пустота окружила ее. И она сама себя чувствует какой-то неестественной. Какой-то глыбой льда. Мрачной. Скучной. И так ей хочется, чтобы кто-то взял ее за плечи. И встряхнул.

«Мне бы его увидеть. И вообще, я сама во многом виновата. Думала, еще чуть-чуть осталось. Выдержу. А теперь понимаю: я хочу замуж! Хочу ребенка! Но как ему сказать об этом? Господи! И что я его так стесняюсь!»

VIII

Вчера они дружными рядами продефилировали по широкой площади мимо трибуны, установленной у Дома правительства. Шли, отвечая жиденьким «Ура-а-а!» на полные официального оптимизма призывы: «Да здравствует советская молодежь!», «Слава КПСС!»... А сегодня скорый поезд уже уносит его домой, в Жемчужное. Надо успокоить Галчонка. Принять решение. А то после долгого-долгого молчания она вдруг разразилась длинным отчаянным письмом.

Полумрак купе мягко покачивается вместе с заключенными в него людьми. Где-то глубоко внизу под вагоном упруго-нетерпеливо постукивают колеса. В вагоне жарко натоплено, поэтому слегка приоткрыто окно. И легкий прохладный ветерок то и дело забегает в гости к Дубравину, лежащему на верхней полке, игриво шевелит голубенькой занавеской. Скоро встреча. И радость жизни теплой волной подкатывает к его сердцу.

Взвизгивает, откатываясь на роликах, зеркальная дверь купе. За нею слышится не яростная, а какая-то привычная, профессиональная, что ли, ругань. Скандалят проводница и еще какой-то самоуверенный баритон. В дверь заходит его обладатель: пожилой мужчина, в старину сказали бы даже – дед. Но это не какой-нибудь лохматый, пьяненький или, наоборот, апостольского вида старичок. Это дед советской формации. Гладкий, крепенький, с тугим пузиком. Он чем-то напоминает крепкий гриб боровичок.

Дубравин будто кожей чувствует его въедливый взгляд.

Первое, что дед сделал, – бесцеремонно закрыл окно. Включил свет. Затем, усевшись, зашелестел газетами, которых у него целая стопка. В купе кроме Дубравина сидит еще один человек. По виду похож на бригадира или агронома, возвращающегося из командировки в родное село. Абсолютно круглое, курносое лицо с мохнатыми бровями над быстрыми черными глазами, большие, как вареники, губы, помятый, явно непривычный его обладателю костюм. Он сидит и с явно скучающим видом разглядывает бегущий однообразный пейзаж за окном.

Дед, отвечая на какие-то свои мысли, заговорил, ни к кому прямо не обращаясь и в то же время обращаясь ко всем:

– Развели бардак! Ни черта порядка нет! Сталина на них нету. Вот при Иосифе Виссарионовиче такого не было. Сажусь в вагон, а мое место

занято. Они, видишь ли, кого-то посадили. Деньги зарабатывают. При Сталине за это сажали. Лет бы пять получила эта проводница.

– Да, да! – закивал головой «агроном». – Народ распустился совсем. У нас в деревне все пьют. Никто работать не хочет. А жить хотят все.

– Да, раньше за тунеядство срок вкатили бы...

Дубравин лежал на своей полке, слушал, как они взахлеб ругали нынешнюю, мягкотелую власть. И хотя он был абсолютно не согласен с их перепевами, молчал. Вся страна нынче сидела на кухнях и рассуждала о политике. Вот умер Брежнев. Умер Андропов. Теперь у нас Черненко. Что будет дальше? Это такая бесконечная дискуссия, которую он слышал много-много раз. Иногда она превращается в яростный спор с противоположными, исключаящими друг друга точками зрения. Иногда вот в такой дуэт, как сейчас, поющий в унисон. Но суть остается одна. Народ чувствует неладное в государстве и стране и ищет выход. Большинство копается в прошлом. Некоторые в самих себе.

Подтверждение своим мыслям Дубравин неожиданно обнаружил и дома. Когда он поздно вечером наконец-таки добрался туда, то увидел отца за привычным делом. Слушанием «Немецкой волны из Кельна».

Отец за это время заметно постарел и как-то еще больше высох. Он в майке, и видно, какая у него по-северному белая кожа. Однако тяжелые кисти рук с навечно въевшимся мазутом и лицо красные, обожженные солнцем и колючими ветрами. Вот этими клешнятыми руками он потихонечку крутит регуляторы настройки и медленно плывет по эфирным волнам.

– Ну, что говорят из-за бугра о нашей советской действительности? Как клеветают на нас? – полушутя-полусерьезно спрашивает его Александр.

– Ладно тебе язвить! – на секунду Алексей отрывается от радио, чтобы ответить сыну.

В этот момент он как раз перебирался с «Немецкой волны» на волну радио Ватикана. Ловит.

Медоточивый, вкрадчивый, елейный голос комментатора начинает рассказывать о каких-то Синявском и Даниэле, пострадавших за участие в каком-то митинге.

– Слушай, пап! Тут я в поезде сейчас ехал. Так там один дед все распинаялся. Порядка, мол, нет. А вот при Сталине был. Что, правда, что ли, такая жизнь хорошая была? Цены снижались каждый год, всего полно было?

– А ты больше слушай их, дураков! – неожиданно отвечает отец и резко поворачивает рукоятку звука, так как в радио дико завывает, гудит

глушитель. – Жалко. Сейчас должны были читать главы из книги Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ».

– А о чем книга-то?

– Да про лагеря наши рассказывают. Обычно отец отвечал односложно, а тут почему-то глаза его блеснули из-под нависших седых бровей, а нижняя губа чуть дернулась:

– Эх, сынок, ничегошеньки-то вы не понимаете. Сталин. Не Сталин. Ничего у нас, по большому счету, после него не изменилось.

Дубравина страшно удивила эта реплика обычно спокойного, уравновешенного отца. Он как-то раньше и не замечал за ним особого раздражения против существующего строя. Правда, Алексей любил воевать с местным начальством. В основном по различным материальным поводам. То спецодежду требовал, то какую-нибудь доплату за вредность работы. К нему частенько обращались местные жители. Жалобу в Москву составить или посоветоваться. Но так, в основном по мелочам.

Дубравин-младший в общем-то краем уха слышал о семейной истории с отсидкой отца «за колоски», но не придавал этому значения. Кто у нас в стране не сидел!

– Эх-хе-хе! – по-стариковски вздохнул Алексей, отвечая на какие-то свои мысли. – Я вот слушаю голоса и кумекаю. Если так дальше будет продолжаться, как Андропов начал, то дойдет и до самого низа. Начнут искать виноватых и сажать. Как тогда. И вспоминать не хочется, – дрогнул его голос. – Народ наш за людей власть не держит. Так что церемоний не будет.

Никогда раньше он не говорил о том, что было тогда, в голодный послевоенный год. А тут что-то прорвало:

– Зима была. Не дай Бог. Везли нас товарняком. Вагоны не топили. Я почему живой остался? Я встал в вагоне на ноги. Обнял столб, что крышу поддерживает. И всю дорогу стоял. А те, кто сел, так и не встали больше. Смерть от мороза самая легкая. Просто тебе так хорошо, так тепло становится. Убаюкивает. И колеса постукивают. Так что тех, кого убаюкало, повытаскивали из вагона, погрузили на телеги. И сразу в ямы. Закапывать.

А в лагере свои заморочки. Привезли нас. Построили. Стали на работы набирать. У нас блатных было полвагона. Они сразу: «Мы в законе. Работать не будем». А я что? Я пойду. На свинарник пошел. А там боровы, хряки такие огромные! Уши как лопухи. От жира глаз не видно. Матки. Поросятки. Их кормят на убой. Сыворотка молочная бочками стоит, творог огромными чанами. Руку туда запустишь. Наберешь. Ешь, сколько хочешь.

Жмых опять же. В общем, жить можно. К весне все эти блатные с баланды высохли и аж почернели. Скелеты, обтянутые тонкой черной кожей. Ходят – шатаются. И падают. А я опять уцелел. Выжил.

Весной меня начальник вызвал:

– Ты, Алексей, мужик оказался крепкий. А у нас тут проблемы. Зеки мрут как мухи. Запрягай мерина в телегу. Будешь трупы возить.

Ох, сколько я их перетаскал. Пока они ко мне по ночам не стали приходить. Вот знаешь как. Во сне идут на тебя и идут. Кажется, сейчас задушат. С ума сходить начал... Всюду мертвые чудятся. Пошел в санчасть. Освободите Христа ради... Не могу... Да... Советская власть...

Алексей замолк. И погрузился в свои воспоминания.

Помолчали. Отец опять неожиданно спросил:

– Шурка, а ты партийный, что ли?

– Да нет. Может, когда вступлю.

– Тебе беспартийным быть нельзя. Как ты будешь воспевать в газетах подвиги коммунистов, а? – отец усмехнулся с иронией.

– Ладно, батя, тебе подначивать, – Шурка обиделся. – Писать надо правду. Я и буду писать правду.

На крыльце забухали чьи-то шаги. Отец прислушался:

– Еще один правдолюбец пришел. – И ему: – Смотри, сынок, тогда тебя долго в газете держать не будут.

Шурка, честно говоря, не нашелся, что ему и сказать. А и правда ведь.

В коридоре раздался дикий грохот. Потом ругань – мать-перемать. Это пришел Иван. Как всегда, пьяный в ж... Он потащился, видимо, к себе в комнату. Но по дороге опять упал.

Пару лет назад отчаявшиеся родители купили Ивану домишко на втором отделении совхоза. И отвезли его туда вместе с молодой женой. Но и эта мера не помогла, так как на селе пили поголовно. Молодые – какое-нибудь «плодово-выгодное» по рубль ноль пять. Те, кто постарше, – самогон. Окончательно спившиеся переходили на денатураты, стеклоочистители и прочие вонючие спиртосодержащие жидкости.

Иван нашел компанию и на отделении. Поэтому через пару месяцев выяснилось, что он ни к какой самостоятельной жизни не приспособлен. А посему его вернули домой. Где он благополучно прибавил семейство.

Сейчас он находился на «плодово-выгодной» стадии, но уже был готов перейти в разряд «самогонов».

– Ладно, батя, – наконец сказал Шурка. – Я пойду, пожалуй. Мне сегодня на вечеринку. Валерка Литке собирает тех, кто приехал. Посидим...

Он отправился по вечерней улице в надежде, что туда же придет и Галинка. Дело в том, что она еще до сих пор не приехала из города. И он ждал ее с часу на час.

Немцы – народ основательный. Работящий. Дома построили огромные. Так что их улица внушала каждому въезжавшему в Жемчужное определенное почтение. Аккуратные заборчики, палисаднички, деревца под окнами, лавочки. Все чистенько. Дворы забетонированы. Ворота крепкие. Дубравин шел возле такого Валеркиного дома, когда столкнулся с подходившим одноклассником Колькой Рябухой. Тот давно и благополучно забыл все свои юные мечтания о сельхозтехникуме. Остался в поселке. Работал на тракторе. Хорошо кушал. Хорошо какал. Раздобыл поперек себя шире. Так что в первую секунду Шурка его даже не узнал. А когда узнал, страшно обрадовался:

– Колька, ты?!

– Я!

Они обнялись. И Дубравин почувствовал запах табака, дешевого вина и новой кожанки, в которую Колька обрядился по случаю праздника. Поговорили по дороге:

– Ты как?

– Да ништяк! Женился в позапрошлом году.

– На ком?

– На Женьке Мухиной. Уже дочка у нас. Вот такая! – Колька развел ладони, показывая, какого размера у них девочка. – А ты как?

– Учусь в университете!

– О, молоток. Я, может, тоже, вот дочка подрастет, пойду учиться.

– Ну-ну, я помню, после школы ты собирался в техникум.

– Ай! – скривил губы под усиками Колька. – Че техникум. Деревня.

А Шурке почему-то было даже завидно. Вот человек. Уже определился в жизни. Ничего по-настоящему ему не надо. А он, Дубравин, все еще чего-то суетится. Чего-то хочет.

Хозяин, Валерка Литке, белобрысый, тонкий, звонкий и прозрачный, встретил их как дорогих гостей. Стол накрыт скатертью. А на столе – огурчики, хрустящая квашеная капуста, мясо жареное шкварчит на сковородке. (Видать, кабанчика завалили.) Картоха толченая дымится в гигантской кастрюляке. Одно слово, лучшая рыба – мясо-колбаса. Жратвы, короче, завались. И выпивки тоже.

Начали собираться. Пришел могучий, черноволосый, похожий на индейца Коська Шарф, а вместе с ним конопатый Комарик – Толик Сасин, без которого ни одна пьянка в деревне уже не могла состояться. Пришел

еще более рыхлый и расползающийся в талии Вовка Лумпик, из-за которого в свое время Дубравин и пострадал. Заика Леля принес с собой гитару. Все такой же тощий, жилистый, с голодным блеском в глазах прибыл Шурка Островков, с которым Дубравин дружил в детстве. Были еще ребята-корейцы. Дубравин их не знал. А также младший брат Амантая. Все люди разные. С бору по сосенке.

Девчонки – особая статья. Белобрысая, тоненькая Женька – Валеркина сеструха. Русская зеленоглазая красавица Валюшка Сибирятко уже с мужем. Вышла замуж за Витьку Лисиченко – местного тракториста по прозвищу Лисик. Зинка Косорукова – огромная, толстая, добрая – учится на учительницу. Последней явилась Людка Крылова. Шурку аж в жар бросило, когда увидел ее. До чего хороша дивчина! Села рядом с ним.

А Галки не было.

Ну и гульнули соответственно. Тут, среди своих, Дубравин расслабился. Знал, в родной деревне опасаться нечего. Был в ударе. Произносил тосты, рассказывал анекдоты, шутил, смеялся. Со всеми чокался. И пил на брудершафт.

Вспомнили ребят, бывлые подвиги, походы, соревнования. От радости не рассчитал он свои силы. Перепил, сердечный, водочки белоголовой.

А дальше как в тумане. И будто не с ним. Там помню, а здесь нет.

Помнит горячечный шепот Крыловой:

– Саша! Саша! Не надо. Мне еще замуж выходить!

А потом тащила с него рубашку. Впивалась ногтями в спину и рвала кожу. А он целовал ее грудь... И плыл, плыл. Качал и качал. Мокрый, как мышь, он чувствовал, как она хватала и кусала его. И стонала, сладко стонала под ним.

А сердце у него билось уже где-то в горле. В макушке головы. А потом куда-то провалилось. Глубоко-глубоко. И уснул он на мокрой от пота подушке тяжелым пьяным сном.

Проснулся среди ночи. Людки уже нет. Остался на топчане только сладкий-сладкий аромат ее тела и духов. Встал. Пошел искать воду. И долго-долго пил из-под крана. А возбуждение все не спадало. И он снова в своем воображении раз за разом входил в нее. И плыл, плыл в каком-то тумане через время и расстояние...

Утром на пороге комнаты появился Валерка. Глаза красные. Под глазами набрякли синяки. Но посвежее его будет. Посмотрел на лежащего. Участливо сказал:

– Что, Саня, плохо? Надо тебе поправить здоровье. Будем делать пробойчик!

Дубравин, покачиваясь, кое-как дополз до стола. Его мутило. Дурнота накатывала волнами. Все плыло перед глазами. Валерка налил ему стакан водки, засыпал туда соли, добавил перца. Сказал ласково:

– Откушай, Саня! Голубчик!

– Не-е-ет! Не-е-ет! – застонал, как раненый зверь, Дубравин. – Не надо! Я умираю. Оставь меня!

Валерка настаивал:

– Давай! Давай! А то не поправишься. Заколдобишься. Выпей, родной!

В общем, дожал он его. Полчаса донимал. Мучения с похмелья были такие, что Дубравин в конце концов не выдержал. Рискнул.

Боже, что тут было! Он выпил полстакана. Огненная вода рухнула в желудок, выжигая все на своем пути. А потом ринулась обратно...

Минут десять его выворачивало наизнанку. Когда приполз с улицы, весь почернел, глаза завалились. Все трясется.

А Валерка ему второй стакан выкатывает:

– Ну что, пробойчик сделали? Очистились? Теперь давай! Пей!

Шурка, уже обезумев от страданий, выпивает пару глотков холодной водочки. И – о чудо! Чистейшая, ледяная, она пошла по жилам, разлилась теплом сначала в желудке, в животе, а потом по всему телу.

– Закусывай, голубчик! – не отстает Валерка. И протягивает ему огромную пахучую куриную ногу.

– Ну, ты, Валерка, змей-искуситель, – шепчет Дубравин и впивается крепкими зубами в белое нежное мясо. Начинает есть. Через минуту у него выступает на лбу обильный пот, вместе с которым выходит алкогольная отравка. Пробойчик удался. Он вернулся к жизни.

Людка, светящаяся в темноте белым прекрасным телом, собрала разбросанные по комнате предметы туалета. Долго искала свой кружавчатый лифчик. Пока не нашла его засунутым под подушку.

Дубравин спал лицом вниз и что-то бормотал во сне. Сбылось то, о чем она давно мечтала в девичьих грезах и снах.

– Мой! Теперь мой! – прошептала она, погладив мокрые от пота волосы любимого. – Никому не отдам...

Она все верно рассчитала и сделала. Еще тогда, когда он только пришел из армии, твердо решила, что первым мужчиной у нее будет именно он. Так и получилось. По ходу гулянки она предложила Валеркиной сестре

куда-нибудь уложить спать опьяневшего Дубравина, которому сама же все подливала и подливала сладкой водочки в стопарик. Женщина женщину понимает. В большом немецком доме нашлась такая угловая комнатка с задвижкой изнутри. Там его, голубчика, она и уложила.

Чтобы не просыпаться рядом с ним в разлохмаченном, помятом виде, под утро выскользнула из комнаты. И отправилась домой. Рассчитывала почистить перышки и вернуться через часок-другой во всем блеске. Но последний маневр немного не удался. Дубравин оклемался раньше. И ушел.

Они посидели с Женькой – сестрой Валерки. Убрали со стола, перемыли посуду. Посмеялись, вспоминая прошлую ночь и старательно избегая некоторых деталей. И Людка, нисколько ни о чем не переживая, отправилась домой отсыпаться.

Новые, неизведанные чувства накатывали изнутри. Она до мельчайших подробностей, до последней секундочки помнила эту ночь. Помнила каждое его движение, каждый вздох любимого. Все-все-все. И сейчас, укладываясь спать, засмеялась от счастья. «Ну вот. Пропала еще одна девчонка на свете. И появилась еще одна женщина». А кроме того, грела душу несокрушимая женская уверенность, что уж теперь-то, после этой сладкой ночи, Дубравин никуда от нее не денется. Смешались мечты и реальность. И эта пьяная, бурная ночь для нее была наполнена нежностью и страстью. «Мой главный человек. Мой мужчина. Твоя рука нежно ворошит мои волосы. Мое сердце замирает от счастья. Вот так умирают от любви. Мне так хорошо с тобой. Так спокойно. И не надо слов. Просто сидеть рядом. И слушать стук твоего сердца, – шептала она, грезя наяву и одновременно засыпая. – Мы одно целое... Ты зачем так нежно целуешь меня в ушко? У меня же земля из-под ног выскальзывает. Солнышко мое.

...Ты целуешь меня в висок, а по спине пробегает разряд. Пальцы сводит, а сердце рвется из груди. Ты продолжаешь меня целовать. Лицо, шею, руки, плечи... Я задыхаюсь. Не о чем думать. Мой единственный. Твои настойчивые губы спускаются все ниже, ниже, и от меня ускользают все мысли. Пустота. Только стучит в висках: «Хочу! Люблю! Люблю!».

...Ох, вечером, наверное, пойдем гулять».

Пришел вечер. Она отоспалась. Принарядилась. Стала ждать. Встречала с замиранием сердца каждый стук у калитки. Она знала. Не может парень после такой ночи уйти. Как на веревочке приведет его желание. Но уже взошла круглая глупая луна. У клуба заиграла музыка. А его все нет.

Тогда она сама вышла. Постояла у ворот.

Проходили мимо знакомые ребята. Оглядывались на нее, красивую.

Звали с собой. Пытались заговорить.

Он не пришел. Ни на этот, ни на следующий день. Сначала она ждала. А потом зеленоглазая круглолицая русская красавица Валюшка сказала ей вроде бы между делом, но с таким значением, как это умеют только женщины:

– Галка приехала. Дубравин к ней пошел. Воркуют голубки. Галка говорит: назначили свадьбу. Через два месяца.

Ему нечего было предложить ей. Сколько он ни пытал себя. Сколько ни пытался найти хоть какое-то подобие чувства. Что-то было. Но при ближайшем рассмотрении это «что-то» была просто благодарность за эту ночь. И жалость. А на жалости любви не построишь. Потому что все его планы, вся его будущая жизнь были связаны не с нею. А он не хотел лукавить, обманывать, притворяться. Поэтому посчитал: «Честнее будет просто уйти. Без всяких ненужных пустых слов. И утешений. И она тоже должна понять. Ничегошеньки у нас не будет».

А назавтра приехала Галинка Озерова. И они начали строить совместные планы. Крылова же куда-то исчезла, растворилась из его жизни. И уже вспоминалась так как-то мимоходом: «Ах, да! Было, было у нас!». И уходило. Потому что рядом было свое, родное, желанное.

Он вернулся в Алма-Ату с уже окончательно оформившимися планами. Закончить второй курс. И жениться. А дальше... Дальше Дубравин ничего не планировал. Потому что дальше было только счастье. Бесконечное. Вечное.

IX

Но понесла его река жизни. Замелькали дни, дела, заботы. И было в этом привычном сплетении событий что-то необычное, иногда напрягавшее его. Еще до поездки домой Дубравин получил лестное предложение. Болат Сарсенбаевич Сарсенбаев, преподаватель журналистского мастерства, сказал, что хочет, чтобы он редактировал университетскую многотиражку. Святое дело. Так всегда было. Наиболее талантливым студентам предлагалось попробовать себя в профессии за половину ставки редактора. Лестно. Однако время шло, а дело не двинулось. Сарсенбаев, интеллигентный, порядочный, неплохой человек,

неожиданно, смущаясь и извиняясь, сообщил ему, что вынужден взять другого редактора. Дубравин проглотил пилюлю. Обидно, досадно, но ладно. Он посчитал это случайностью.

Еще одна случайная неприятность поджидала его однажды вечером. Как обычно, краснорубашечниками они сидели вечером у себя в секции. Потягивали пиво. Играли в картишки. И философствовали. Дубравин сегодня был в ударе. Он в перерыве между парами бегал в магазин за кефиром. Но кефиру ему не досталось. Разобрали. От этого он злился и обличал язвы социализма.

– Это что за великая сверхдержава?! – раскладывая атласные карты, духарился он. – Хвастаемся, что ракеты в космос запускаем. А простого дела – кефиром снабдить город – не можем. И чем дальше, тем хуже. Сегодня в «Юбилейном» такая гигантская очередь за мясом стояла. Ну прямо как в Мавзолей. Вообще, я смотрю на наш недоразвитый социализм, и у меня в голове постепенно складывается его формула. Почти как у Ленина. Помните?

– Социализм, – усмехнулся криво маленький Илюшка Шестаков, – это советская власть плюс электрификация всей страны.

– Во-во! А по мне социализм – это очереди плюс дефицит всего по всей стране.

– Ну ты даешь, Вождь! Бью тузом! – заметил носатый Сашка Рябушкин, шлепая крестового туза на кровать.

– А что? Кругом тотальный дефицит и сокращение производства. Вы смотрите, что делается. То лезвия для бритвы исчезли, то стиральный порошок. Колбасы и кефира хрен укупишь. А почему? А потому, что для того же директора молочного завода главное – выполнить план. А дальше – трава не расти. Вот они каждый год стараются себе план снизить. Ездят по ведомствам. Корректируют. План выполняют, а жрать нечего.

– Ох, круто ты обобщаешь! – заметил Нигматуллин. – Как бы чего не вышло.

Но в голосе его Дубравин заметил желание не предупредить, а наоборот, раззадорить на еще более резкие высказывания.

– Основной экономический закон социалистического производства – это постоянное сокращение производства товаров и услуг. Уменьшение ассортимента изделий. И закон этот действует так. Сократить, а на оставшееся повысить цены. И выполнить таким образом план.

– Ох, Вождь! Тебе бы с нашим экономистом подискутировать, – заметил, морща лоб и размышляя, с чего ходить, Мирхат. – Вот он бы тебе сделал зачет... по нашему долбаному социализму.

В деревянную дверь комнаты постучали кулаком. А затем снаружи раздался какой-то шум, галдеж. И чей-то сиплый голос произнес:

– Открывайте! У вас тут пьянка!

Дубравин, убирая карты в карман красных «революционных» шаровар, возмутился:

– Какая пьянка? Сдурели, что ли?

Соскочил с настила, подошел к двери:

– Кто там? Чего ломитесь?

– Мы из деканата. С проверкой! – раздался в ответ знакомый голос методиста кафедры журналистского мастерства Ермака Джумакулова.

Он повернул ключ. Открыл дверь. В нее ввалились с ходу четыре человека. Впереди Джумакулов или, как называл его острый на язык Дубравин, деканский холуек. В его функции входило следить за студентами. В частности, он всегда таскался с журналом посещаемости и отмечал там прогульщиков и опоздавших на занятия. Постоянно участвовал в проверках в общежитии. Собирал разные сплетни и слухи. А потом докладывал и закладывал. Вольные «чурпаковцы» его не любили, презирали, но побаивались. Особенно ребята с казахского отделения.

Позади приземистого, пузатенького холуйка с его быстрыми, ищущими раскосыми глазами торчали, как два шкафа, окодовцы – дружинники в форменных куртках. Сзади мелькала густо накрашенная физиономия комендантши общежития.

– Что тут у вас происходит? – нагло, на повышенных тонах начал наезжать Джумакулов. – Пьянка?

– Какая пьянка? – Дубравин привычно ощетинился. – Где вы видите пьяных? Сидим беседуем. Готовимся к экзаменам. А вы тут врываетесь! Мешаете заниматься.

– Вы не грубите, товарищ Дубравин, – сразу, получив отпор, перешел на официальный тон Джумакулов. – С проверкой нас прислал сам Кожанкеев.

– А почему вы все тут сидите в красных костюмах? – спросил один из «шкафов» и подозрительно оглядел комнату.

– Нам так нравится! – ехидно ответил Мирхат.

– Их надо было после демонстрации сдать на склад! – заметил «полумент».

– Еще не успели! – встрял в беседу Рябушкин, убирая в карман колоду.

С пару минут они так пикировались. Возмущенный допросом до глубины души, Дубравин еле сдерживался, чтобы не послать на три буквы эту странную комиссию. А те внимательно шныряли глазами по углам.

Холуек зачем-то записал фамилии всех, кто был в комнате, в свою амбарную книгу. Наконец вся банда удалилась.

Пацаны снова уселись на сдвинутых кроватях играть в карты. Но настроение было безнадежно испорчено. И все чувствовали, что в этом вторжении было что-то неестественное. Какая-то фальшь. А вот какая? Это вопрос, достойный своего решения.

На следующий день Дубравин поинтересовался у соседей, приходила ли к ним комиссия. Но никто ничего о ней не слышал. Получалось, что проверяли только их секцию. Спрашивается: зачем?

Недели через три была еще одна странная история. Как-то, вернувшись в общагу, его сосед по комнате остроглазый художник Мирхат Нигматуллин по едва уловимым мелочам заметил, что кто-то у них был в секции. И по-видимому, рылся в вещах.

Людка не находила себе места. Он уехал. «Уехал, даже не попрощавшись. И доброго слова не сказал. Попользовался. Поматросил и бросил».

А по Жемчужному уже поползли слухи.

И хотя времена якобы наступили новые, мысли и чувства женщин от этого несколько не изменились.

Вслед за обидою захотелось мести: «Ну так не доставайся же ты никому!».

В ярости она металась по своему игрушечному домику и, закусив до крови губу, повторяла про себя: «Будет вам свадьба! Все вам будет! Белое платье. Красные розы. Что, а я не имею права на счастье? Будет ей счастье! Сначала я напишу ему письмо. А потом... Потом... -она до побеления пальцев сжала кулаки. – Хотя нет. Он-то что. Любимый мой! Это она, тихоня. Гадюка! Все из-за нее. Ну так что ж, я одна буду мучиться? Пусть и она узнает, как бывает. А то ходит по деревне – светится!».

Она начала быстро одеваться. Потом бросила свое новое пальто с меховым песцовым воротником прямо на пол. Села за стол. И без «здравствуй» и «прощай» начала писать: «Саша, решила тебе письмецо написать. Ты только, пожалуйста, не смейся над тем, что я хочу тебе сказать. И самое главное – прошу, не говори никому, что тебе жаль одиноких женщин.

Санечка, поверь, я еще никому и никогда не говорила нечто подобное и

тебе бы не решилась, если бы не письмецо (хорошо, что я не вижу твои смеющиеся глаза).

Я прекрасно понимаю, для тебя все наши отношения – заполнение промежутка времени, пусть даже не такое удачное и опытное с моей стороны».

Она вспомнила его в ту ночь. И размякла. Хотелось написать что-то такое, чтобы его проняло. Чтобы он заплакал.

«Ах, Саш, мне с тобою было очень-очень хорошо!

Помнишь, ты говорил, что тебе со мною спокойно? Я только сейчас понимаю до конца смысл твоих слов.

Каждое утро хочется сказать тебе «доброе утро». А потом сама себе говорю: зачем ему это?»

Она снова взяла себя в руки. «Что это я? Я же пишу последнее письмо!»

«Помнишь, ты меня спросил, верю ли я в Бога. Я тебе еще тогда хотела сказать, что нет.

Почему, создав все на земле, он не дал людям счастья, пусть даже самого малого, чтобы все могли быть с тем человеком, с кем хочется быть?

И я не пойму, зачем он меня наказал нашей встречей. Жила бы я спокойно.

Сань, ты думаешь, как я мало говорила при наших встречах, а теперь... Санечка. Ты знаешь. Я все слушала тебя и, ощущая тебя рядом, думала: «Боже, какая я счастливая». А теперь поняла, что это все только для того, чтобы мне было хуже и больнее.

Санечка, мне очень плохо без тебя, и тем не менее я прекрасно понимаю, что все заканчивается. Самое главное. Не хочу, чтобы меня бросали. И пусть все закончится этим письмом. Помоги мне. Не надо больше ничего. Это все, наверное, пройдет со временем.

Санечка, как хорошо, что все кончается так. В этой жизни. Может быть, в другой повезет. Встретимся мы вовремя. И будем счастливы. И может быть, ты тогда будешь всем говорить, что есть счастье.

Прости за этот сумбур.

Будь счастлив. Люда».

«Ну вот, теперь можно идти к ней. Поговорить...»

Х

Командировка заканчивается. Выставка американского фото сворачивает свою работу и переезжает для начала в столицу Киргизии город Фрунзе. А потом куда-то дальше, в Грузию. Снимаются и они. Уже не надо притворяться какими-то электромонтерами, сторожами и прочими иными специалистами. Осталось только, как говорится на профессиональном жаргоне, отписаться. И можно возвращаться в Москву в свою «вышку». А там еще немного – и заключительный выезд «в поле» на базу воздушно-десантных войск под Псковом. Где они получат дополнительную подготовку на случай войны. Дальше – выпуск. Оперативная работа. Новые задания. И приключения.

Отписывался он в мрачноватом здании республиканского комитета, в маленьком кабинетике вместе с двумя другими операми. Там и услышал невзначай их разговор о каких-то своих делах. О том, что попутно, по ходу слежки за американцами, вскрылась ими антисоветская группка. И где? На факультете журналистики местного университета. Как говорится, мелочь, а приятно. Один из оперов, плосколицый, маленький, смуглый, длинноволосый (для конспирации) кореец, рассказывал другому:

– Наши на них вышли просто. Вели приехавшего на выставку цэрэушника. А они сами на него выскочили. Молодые, глупые. Сейчас их разрабатывают прямо в их новом общежитии. Собираются там всей группой по вечерам. Лясы точат. Образовался у них такой диссидентский кружочек. А самое смешное – знаешь, как у них зовут заводилу? Вовек не угадаешь! Попробуй!

– Не-е, Володь. Не мешай писать! – хмурясь и напрягаясь, отмахивался от назойливого коллеги серьезный двухметровый опер со шрамом на щеке.

– Ты ж знаешь, как я не люблю всю эту писанину.

– Ну попробуй!

Опер засопел, напрягаясь над докладной, и вздохнул.

– Вождь! Во как они его зовут! Это же надо такую кличку придумать! – не выдержал и выдал на-гора тайну кореец.

В первый момент Казаков, писавший за соседним столиком свой отчет, даже не зафиксировался на этой детали. Пропустил мимо ушей. Да и то. Он как раз в это время думал о вечернем свидании с девушкой. Как-никак, а даром времени в командировке тоже не терял. Вообще, у него с девушками не очень ладилось. То ли будущая профессия наложила отпечаток, то ли

требования у него были слишком завышенные. Но до сих пор каких-то серьезных отношений Анатолий не обрел. Хотя он знал, что в их конторе считалось нормальным, чтобы сотрудник лет в двадцать пять женился. Холостяцкая жизнь не приветствовалась. И холостяки были для комитета проблемой. Кто их знает, что они выкинут на почве сексуальной неудовлетворенности.

Нынешняя командировка в столицу Казахстана – дело длительное. И в свободное от работы на выставке время ему, собственно говоря, заняться было нечем. А как всякому молодому человеку, хотелось. Можно было обратиться к друзьям, чтобы его просто познакомили со студентками. Но это было как-то обыденно, буднично. А он мечтал, чтобы все в его судьбе было романтично и таинственно. Сказано – сделано.

Шурка Дубравин через Несвеллю нашел ему домашний телефон красивой девчонки с филологического факультета. И вот однажды вечером Анатолий рискнул позвонить из своего санатория:

– Здравствуйте!

– Здравствуйте! А вам кого? – ответил далекий детский голосок.

– А мне Викторию! – дрогнувшим голосом ответил он.

– Викуля, тебя!

Минута молчания. Потом запыхавшийся вопрос:

– Я слушаю.

Вот тут-то и было самое важное. Наладить контакт. Так заинтересовать девушку, чтобы она не бросила трубку. Этому умению их тоже учили. Не зря даже в программе была книга Дейла Карнеги «Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей». Итак, сначала предстояло ошеломить.

– Здравствуйте, Виктория! Вы меня не знаете. А я вас знаю. Зовут меня Анатолий, – он решил оставить свое собственное имя. А вот все остальное придумать, так сказать «легендировать». – Я видел вас на сцене, когда вы играли в КВН. В нашем университете. (Ведь все играют в КВН. Или в студенческом театре. Или хотя бы в ролях изучают английский.)

– А, так вы учитесь в нашем университете? (Теперь, видимо, заработала ее программа женского любопытства.)

– Да, на физико-математическом факультете. (Там-то уж наверняка филологи никого не знают. Да и опыт учебы у него имеется.)

– Ой, как интересно! Всякие формулы, явления. Я никогда ничего в школе не могла понять из физики.

Разговор пошел. Веселый, непринужденный, молодой. Он старался и даже спел песенку на английском из мюзикла, который слышал в Москве. Ясно стало, что девчонка она веселая, смешливая. Эта Виктория Маевна

Ким. Отец кореец, мать русская.

А он вел осаду по всей науке.

Вот и повелось с того вечера, что у него появился такой друг, а может, и не друг еще, а просто отдушина – человек, с которым можно поговорить по телефону. Эти вечерние разговоры о самых простых и обыденных вещах помогали ему жить и видеть жизнь в другой ипостаси. Не через призму идеологической борьбы и профессии, а просто. С маленькими радостями, горестями, всякими женскими штучками-дрючками.

Может быть, он так бы и уехал, не повидавшись, если бы она как-то не сообщила, что завтра у них очередной КВН. Игра на первенство между филологами и географами. Ну а он сдуру ляпнул, что придет посмотреть.

– Может быть, мы там и познакомимся? – вдруг спросила она.

– Может быть! – машинально заметил он и испугался. В принципе он, как и большинство внешне самоуверенных мужчин, боялся и сторонился красивых женщин. Боялся отказа. Отказ – это удар по самолюбию, самооценке. И всем представлениям о себе. И чем сильнее в человеке мужская природа, тем сильнее этот страх.

Он попытался для страховки пригласить с собой рыжего друга Алексея, но тот категорически отказался:

– Филологини? Да ну их! Трещат как сороки. Вот я вчера на выставке познакомился...

Ну, не захотел Алеха. Остался смотреть телевизор в санатории. Пришлось идти одному.

Спектакль под названием КВН был в полном разгаре, когда он, словно граф Монте-Кристо, появился в полутемном актовом зале факультета. На ярко освещенной сцене шутили принаряженные, с красивыми прическами, в вечерних платьях симпатичные девчонки. Казаков даже подумал: «В наше время балов нет, приходится им, бедным, наряжаться хоть по такому случаю».

Впрочем, зевать и глазеть было некогда. Он должен был угадать трех подружек. Не без труда, но к концу спектакля он определил, что тоненькая, грациозная, прямо лань, с огромными черными глазами маленькая корейночка – Виктория Ким. Круглая, полненькая, беленькая, добрая русская девочка – Лена Камышева. А высокая, рано созревшая, очкастая, черноволосая, нос с горбинкой, евреечка – Ирина Смирнитская. Три грации. Три представительницы своих народов. Кого выбрать? Ну, Лена Камышева сразу отпадала. Из вечерних разговоров, намеков и полунамеков он уже знал, что она живет с каким-то Герой Ципманом.

Та, с которой он столько времени переговаривался вечерами,

показалась ему слишком яркой, слишком независимой. Ну, почувствовал он, что ли, что она ему не по плечу. Но отступить не намеревался. И после представления смело пошел знакомиться.

Девушки были смешливые и насмешливые. Уже через минуту Казаков в прямом и переносном смысле погрузился в атмосферу филфака с его нескончаемыми намеками, интригами, сплетнями, разговорами по душам и прочими прелестями женского бытия. Они все ему нравились. Ясно, что наиболее зрелой из них была Ирина Смирнитская. На юге вообще девушки рано созревают. Так что, посмотрев на ее тоненькие лодыжки и длинные хрупкие пальчики, можно было принять ее за подростка. Но хорошая, налитая грудь и бедра говорили, что это женщина, и женщина знойная.

Девчонки были радостно возбуждены. Только что сошли со сцены, да еще оказались в компании такого парня. И то дело – ведь у них в группе на сорок человек было всего трое мужиков. Один из них, Гера Ципман, тощий, доходной, но любвеобильный мальчишка, уже был занят. Андрей Коропков – красавчик, профессорский сынок, предмет воздыханий всех девчонок – задирает нос и строил из себя неизвестно что. Третий – Серега Герасименко, преподавательский отпрыск, вечно красноносый, сопливый, гулявый. У него прямо-таки на лбу написано, что быть ему кандидатом филологических наук, защитить диссертацию по каким-нибудь щелкающим звукам в говорах народов севера. А также быть ему под пятой у суровой и властной жены. А под старость лет щупать за задницы молоденьких студенточек и однажды уйти от суровой жены к одной из них.

Конечно, эффектное появление Казакова в этом женском болоте всколыхнуло его. Само «болото» вздохнуло, всхлипнуло и принялось приглядываться.

Для них он был выходцем из другого, непонятного, жесткого, но очень притягательного мужского мира. И естественно, что после той встречи они принялись возбужденно и бурно обсуждать его кандидатуру. При этом каждая из трех граций исходила из своих интересов. У Виктории Ким еще не было потребности любить. Сердце еще не проснулось. Она вся в учебе, в секциях, в заботах. Лена Камышева, связанная отношениями с Ципманом, понимала, что ей ничего не светит. И поэтому смеялась над некоторыми словечками, манерами Казакова. И только Ирина Смирнитская почувствовала какое-то тяготение, в котором она и сама еще пока не разобралась. Скорее всего, это было притяжение силы. Вот она и принялась защищать его от подружкиных насмешек и шуточек:

– Да что вы, девчонки! Он такой... такой, как бы это сказать,

серьезный, положительный, прикольный.

– А, влюбилась, влюбилась! – стала подтрунивать и над нею Камышева, словно уличая ее в каком-то грехе.

Немедленно, в вечернем разговоре по телефону, Виктория передала это мнение самому Казакову.

И уже на следующей встрече они ходили, ходили, провожались, провожались. А потом в один прекрасный момент остались с Ириной вдвоем на чудной осенней улице, ведущей к кинотеатру «Целинный». Так Анатолий узнал на практике одну простую истину. О том, что не мужчина выбирает себе пару, а женщина.

Но его командировка заканчивается. Еще два-три свидания. А дальше? Дальше как Бог даст. Но Иришкины памятные места, похоже, он сразу не забудет.

Вот в эти минуты и застиг его врасплох разговор соседней-оперов.

«О чем это они?» – наконец начал соображать Анатолий.

Но он уже был не простодушный мальчишка. И лишних вопросов не задавал. Казаков сделал вид, что его несколько не интересует этот мимолетный разговор. А сам в это время лихорадочно соображал. И вихревой мыслительный процесс привел его к неожиданным выводам: «Так это ж, наверное, речь идет о Шурке Дубравине. Я же у них был как-то в общаге. И он хвастал, что они весело проводят серые осенние вечера. Играют в своем клубе краснорубашечников. И его пацаны называли Вождем. Точно, это о нем!

И все они там спорили. Разговаривали. Вот и договорились, что попали на крючок.

Черт их дернул встретиться с Кларком. А ведь это «контакт». И даже если он случайный, то все равно будет отрабатываться по полной программе. Начнут искать связи. Проверять образ жизни. Копаться в мировоззрении. Будут наблюдать за ним. Опрашивать всех. А ведь и я у них был! – от такой простой мысли у Анатолия даже закружилась голова. – Елки-палки! А если узнают, что мы с ним близкие друзья? Мне тоже не поздоровится. И влечу я».

Стало совсем не по себе. Он отложил ручку в сторону. И вышел из комнаты в коридор. Зашел в туалет. Включил холодную воду. Умылся. Постарался остановить дикий разбег мыслей. В памяти всплыла давняя история с той студенткой Валюшей. И его роль в ней. Может, уже и за ним установлено наблюдение? Кто его знает, чего они накопают. А впрочем, что можно накопать-то в этой истории? Он же Дубравина знает как облупленного. Свой, наш, советский. Без всякой гнили. Иначе он, Казаков,

с ним и не дружил бы никогда. «Да, Шурка в армии всякого насмотрелся. Критиковать любит. Спорить. Но таких людей, как он, в нашей стране миллионы. Вся страна на кухнях шепчется. И про вождей. И про нашу экономику. Просто эта встреча с Кларком... И на кой ляд он им понадобился?! Образина долговязая. Эх, пацаны, пацаны! Будут вас теперь таскать.

Но как быть-то? Может быть, предупредить Дубравина? Ну, чтоб держал язык за зубами».

Курсант «вышки» Казаков даже в мыслях не позволял себе признаться, что он хочет сделать это, чтобы обезопасить и свою жизнь. Хотя ясно чувствовал: в подкорке, в подсознании уже сидел маленький чертик – страх.

«Ясно, что с Кларком они встретились случайно. Молодость. Хочется выделиться. Может, какой материал хотели написать. Шурка, он же пишет.

Интересно, как глубоко наши уже копают? Может, можно еще что-то сделать? Ведь в конторе существует и действует незыблемое правило: чтобы что-то подтвердить, надо иметь информацию как минимум из трех источников. Так что если разработка только началась, то Дубравин может повлиять на ее ход».

Подумал. И в жар бросило: «Что ж я делаю-то? Я ведь присягу давал. Служить верою и правдою государству. А сам? Чекист должен быть жестким, можно сказать, беспощадным к врагам.

Господи, какой из Дубравина враг?

И зачем ко мне попала эта информация? Она мне вовсе и не нужна. Одно беспокойство. Что же делать-то? Как поступить правильно? И посоветоваться не с кем. Не скажешь же Маслову. Как поступить по инструкции, он знает. А вот как по совести?».

Три оставшихся до отъезда дня курсант Казаков раздумывал. В конечном итоге его мысли металась между двумя полюсами: «Предупредить Дубравина – значит пойти против своей же организации. А если промолчать, то организация рано или поздно выйдет и на меня. Да и Шурку я считал и считаю своим. Другом».

И видимо, он уже не был тем революционным фанатиком, продолжателем дела великих чекистов, которые ради идеи всемирной революции готовы были загнобить всех: друзей, жен, детей. Утопить в

крови не только несогласных, но даже колеблющихся. Они стали обычными людьми. И даже помнили сказанные где-то, на каком-то служебном совещании слова их кумира Андропова. О заблуждающихся. «Они же тоже наши, советские».

XI

Снег на окружающих каток «Медео» горах искрится под солнцем. Бьет в глаза. С высоты гигантской плотины, которая защищает город от селей, каток внизу кажется совсем небольшим. На его бело-голубом льду рассыпались маленькими разноцветными горошинами катающиеся люди. На трибунах тоже муравейник. Воскресенье. На «фабрике рекордов», как называют высокогорный каток в газетах, массовые гулянья. Вереницы автобусов везут людей из городского смога сюда, в тишину и свежесть урочища.

Дубравин тоже приехал экспрессом. И сразу же пошел по «лестнице здоровья» на плотину. Тысяча ступенек вверх – и ты смотришь на окружающий мир с высоты полета орла. А ниже тебя, в гигантской горной чаше, которая принимает в себя грязевые потоки, летают ласточки, воробьи, вороны.

Дух захватывает. И мысли тут большие. О вечном. О стране. О себе: «Сколько во мне сил... Кажется, горы могу свернуть. А нужны ли эти силы кому-нибудь в этой обстановке общей апатии? Будет ли такой шанс? Или, как отец, промечтаю о собственной ферме, земле. Куда идти? К чему приложиться? А ведь все на свете меняется, стареет и умирает. Людям кажется, что это не касается мира идей. Догматики думают, что их построения будут жить вечно. Особенно мила их сердцу мысль, что можно уравнивать всех людей на свете, сделать всех одинаковыми. И вот их утопия воплотилась в жизнь. Теперь это называется развитой социализм. И что же? Жизнь оказалась гораздо сложнее любой утопии. Напряжение накапливается. Общество меняется. И вот сейчас, когда идеи устаревают, а такого страха и ужаса уже нет, начинают проявляться живые человеческие интересы. Плотина дает течь. Вода инакомыслия находит все новые и новые щели. Попытка остановить жизнь, загнать ее в прокрустово ложе идеологии не удалась. Изменения происходят сначала в голове. И в моей тоже...

О, кажется, Вовуля бредет от «Медео». Остановился передохнуть. Какой-то он весь серый, унылый».

Дубравин помахал сверху, со смотровой площадки плотины, поднимающемуся запыхавшемуся другу. Тот в ответ вяло махнул ему ладонью. Минут через пять поднялся. Отдышался и вместо «здравствуй» сказал:

– Я тебя вот что позвал сюда, – осмотрелся по сторонам. – Толян передал, что на тебя собирают компромат. И связано это с выставкой, с американцами.

– Кто? – Дубравин удивленно сморщил лоб и поднял густые брови.

– Конь в пальто! Вот кто! – раздраженно ответил Озеров, натягивая рукава пальто на озябшие руки.

– А Толька откуда знает?

– А я откуда знаю? Он ничего не сказал. Просто просил передать тебе, чтобы ты был поосторожней. И держал язык за зубами.

– А сам он где?

– В Москву уехал.

Александр Дубравин счел за благо ни о чем больше не расспрашивать Озерова. Да тот и так ничего не знал. Он сам знал больше.

С американцем они тогда все-таки встретились. Правда, сама встреча получилась какая-то невнятная, скомканная. Сидели в кафе. Кларк все оглядывался, озирался. Когда принесли водки, пить не стал. Наверное, боялся провокаций. И сказать он тоже ничего особенного не сказал. Что запомнилось? Ну, что он поработает здесь на выставке, а потом в отпуск. Купит на заработанные доллары машину. У них там сейчас самая модная – «Вольво». Шведская, что ли. Ну, еще поговорили о том о сем. Договорились встретиться еще раз. Но Дубравин не пошел. Некогда было. Интервью не получилось. Собственно говоря, все. Если не считать того, что в последнее время вокруг него атмосфера как-то изменилась. Наэлектризовалась. Эта история с редакторством. С налетом холуйков. Какие-то недомолвки преподавателей. Недавно в общежитии кто-то рылся в их вещах.

Вспомнил свои выступления на вечерах краснорубашечников. Похолодел. Заныло в животе: «А что, если донесут? А может, уже донесли. Но там всегда наши ребята. Илейка, Мирхат, Ахмет, Сашка Рябушкин, Витек Кригер. Хотя иногда и гости забредают.

И что теперь делать? Я ведь не только так, как все. Я еще и рассказ написал. «Разговор с дедушкой» называется. Не кривя душою, рассказ-то антисоветский. Внук беседует со своим дедушкой-казаком. Дед вспоминает Гражданскую войну. Как воевал он за белых. И внук его упрекает: «Что ж ты, дед, так плохо воевал? Так плохо рубил краснопузых? Вот теперь мы и сидим в полном дерьме». Ну, и дальше мальчишка говорит, что, если бы ему довелось поучаствовать, он бы промашки не дал: «За свободу своего народа от ига коммунистов не только бы рубил коммуняк, но и на кол их сажал».

Вспомнив сей литературный труд, Дубравин совсем опечалился. Он понимал, что за такие рассказы ему не поздоровится.

Но теперь он понял также, чем связаны все происходящие вокруг него события.

Вихрем взлетел по лестнице на этаж. Секунда – и уже распахнуты настежь входные двери в секцию и в комнату. Метнулся к книжной полке с разноцветными корешками учебников. «Ну, где же он? Где?» Внимательно посмотрел, все ли странички на месте. Вдохнул так, будто притащил мешок с картошкой. Пошел в туалет. И аккуратно листок за листком сжег. Черный пепел сыпался в унитаз. А он только сопел и морщился. Жалко своих трудов.

«Теперь к ребятам. Я так просто вам не дамся!»

Следующие два дня его рука побывала в каждой руке, а его губы прислонились к каждому уху краснорубашечников. Зажав очередного визави где-нибудь в уголке аудитории, он спрашивал в лоб, стараясь по реакции определить, был ли человек «там».

– Ты в курсе, что Мишку уже вызывали?

Если человек отвечал: «Куда?» – значит, не в курсе. Если знал, то с ним все было ясно.

– Ну хорошо, тогда слушай меня внимательно. Вчера Мирхата с занятий пригласили к декану. Там его ждал работник из комитета. Повезли на Советскую. Спрашивали о нас. Обо мне. Что мы думаем? Какие у нас разговоры? Ну, в общем, допрашивали час-другой. Может, и тебя пригласят. И все будет хорошо, если ты будешь готов к разговору...

Шли дни. Потом недели. И постепенно ребята стали потихонечку отзывать его в сторону. Сегодня бледный, запинаящийся Илюха Шестаков перебрал ему записочку на лекции по истмату. В ней написано туманно и коротко: «Вызывали». В перерыве рассказал, какой важный и представительный был майор. О чем спрашивал. Теперь Дубравин задавал вопросы. Ему надо было по мельчайшим деталям разговора понять, определить, что они насобирали на него.

– А по поводу вечерних посиделок? Что он сказал?

– Ну, собираемся. У нас в секции. Про твою кликуху ему кто-то ляпнул. Знает, что ты настроен критически.

Если говорить по-романному, то «невидимое кольцо сжималось».

Сначала таскали тех, кто не особенно с ним znalся. Потом перешли к друзьям. Но странное дело. Не было уже страха. С каждым днем он чувствовал, как внутри него вырастает какая-то независимая даже от него самого сила внутреннего сопротивления.

В сущности, речь шла о его судьбе. В случае негативного развития сценария он вполне мог оказаться как минимум за воротами университета. А как максимум – где-нибудь в психдиспансере. Ибо только сумасшедший может не любить советскую власть.

По ночам он долго не мог заснуть, прокручивая в сознании события дня и ожидая какого-нибудь нового подвоха.

«Что у нас за страна такая? – размышлял он, вглядываясь в окошко, чтобы понять, светает или нет. – Встреча с иностранцем становится поводом, чтобы тебя зачислили в неблагонадежные. И установили слежку. А уж если критикуешь, то тебя точно надо сажать «под колпак».

Время и труд все перетрут. Так и вел он эту свою маленькую войну.

Он уже понимал, как действует машина. И мог более-менее точно предсказать, когда и кого вызовут. И даже успевал предупредить этого человека. Так получилось с Несвеллей. И кажется, она его не сдала.

Все это время он чувствовал себя как человек, попавший в какой-то сложный механизм. И понявший, что этот механизм должен сработать в привычном алгоритме, несмотря ни на что. «Он от тебя не отстанет до тех пор, пока, условно говоря, не прожует и не выплюнет. Остановить этот механизм невозможно. Можно только сжаться, пригнуться и постараться, чтобы он тебя не растер в порошок».

И он старался как мог.

Он только один раз попался на провокацию. Случилось это на семинаре по советской журналистике. Вел его старый интеллигент, бывший декан факультета Михаил Иванович Дмитроцкий. Худой, морщинистый, но в хорошем французском пиджаке «с локтями», он производил впечатление умного, все понимающего, но примирившегося с действительностью человека. Как-то по ходу семинара Дмитроцкий зачем-то задал студентам вопрос.

– Вот у нас много сейчас идет разговоров, – заметил Михаил Иванович, прохаживаясь между рядами столов в аудитории, – о том, что надо давать высказаться диссидентам, таким как Солженицын, Буковский, Сахаров. Печатать их книги. Чтобы в обществе была дискуссия. Это одна точка зрения. Другая заключается в том, что делать этого нельзя. А как вы считаете, молодежь? Ваше мнение?

Начали все выступать. Кто в лес, кто по дрова. В основном склонялись

к тому, что печатать нельзя. Только не могли обосновать свою точку зрения.

Поднял Дмитроцкий и Дубравина:

– Ну а ваше мнение, молодой человек?

Дубравин вспомнил напутствие своего бывшего директора школы, который когда-то на выпускном экзамене тоже пытал его. Поэтому хотел что-то промямлить в русле официальной идеологии. Но не выдержал. Разозлился на самого себя: «Да что я совсем раскис!». И сказал то, что думал:

– Надо печатать. Запрещая, мы создаем для диссидентов благоприятные условия. Люди думают: а вдруг они что-нибудь такое пишут, чего власти боятся? А так прочитают. И сами поймут, где правда, где ложь. Народ-то у нас неглупый. Грамотный. Я, например, прочитал «Один день Ивана Денисовича» и пришел к выводу, что повесть слабая. А так бы думал, сомневался.

И тут же Михаил Иванович разразился отповедью.

– Садитесь, Александр, – он прикоснулся к плечу Дубравина. – Мне кажется, ваша точка зрения неверна. И вот почему. Диссиденты – противники нашего строя, – он остановился, из-под очков оглядел аудиторию. – Они клеветают на него. А если их труды начать печатать, то что получится? Государство должно будет потратить бумагу, деньги на то, чтобы излагать взгляды своих идеологических противников? Даст им возможность вести пропаганду среди советских людей. Да еще и за свой счет. Это не большевистская точка зрения у вас, Александр. Это чистой воды анархо-синдикализм.

По аудитории разнесся шумок и шелест. Дубравин не знал, что такое анархо-синдикализм. Он просто понимал, что плетью обуха не перешибешь. И поэтому промолчал. Хотя ему и было что сказать.

Семинар закончился. Толпа ринулась на выход. Надо было перейти в другую аудиторию по длинным переходам и крутым лестницам. По дороге его поджидали Илюха с Мирхатом.

– Ну ты, Чинчик (Илюха почему-то ласково называл Дубравина Чинчиком. Что это значит – никто не знал), даешь! Зачем выступил?

Мирхат, тот постарался поддеть Дубравина:

– Теперь у тебя будет прозвище Анархо-синдикалист. Смотри, Дубравин.

– Да пошел ты! – беззлобно отправил его куда подальше Сашка.

Он и так расстроился: «Черт меня дернул за язык. Сорвался!».

Ждешь, ждешь чего-нибудь. Рисуешь себе всякие картины. Ужасы. А когда это случается, все происходит на самом деле буднично и просто.

Как он ни готовился к беседам и допросам, а все равно сердце екнуло, когда в очередной раз появилась на стоянке у главного корпуса университета уже знакомая черная «Волга» с какими-то особенными номерами.

«За мной. Больше некого!» – подумал он, входя в здание через распахнутые настежь двери. И почему-то расстроился: «Эх, весна уже на носу!».

И точно. Он еще не дошел до аудитории, как его встретил пузатый деканский методист-холуек. Но в этот раз надсмотрщик не стал даже пудрить ему мозги за опоздание на лекцию и записывать в журнал. Он только коротко и даже, как показалось Дубравину, сочувственно сказал:

– Там тебя в деканате ждут! – и почему-то даже указал пухлой рукой, куда идти.

– А, Дубравин пожаловал! – гнусным тоном приветствовал его декан.

В кабинете у Кожанкеева сидел за приставным столом черноволосый мужчина с правильными, приятными чертами лица лет тридцати пяти – сорока. Спортивный, подтянутый, в сереньком костюме.

«Похож на переодетого офицера. И костюм не чиновничий, как обычно у наших пузанов, а какой-то полуспортивный. И руки чистые, почти холеные», – машинально отметил про себя Александр, когда мужчина мельком показал свои корочки, раскрыв их так быстро, что Дубравин успел разглядеть только фотографию в форме. Да еще надпись: «С правом ношения огнестрельного оружия».

– Майор Терлецкий, – представился гэбэшник. И внимательно, ощупываяще посмотрел на него.

«Ого, целый майор пожаловал, – безо всякой иронии подумал Александр. – Не какой-нибудь старший лейтенант». И даже ощутил нечто вроде гордости за себя.

Расплывшийся, жирнолицый декан Кожанкеев тихо сидел в кресле и почтительно молчал, даже не пытаясь, как обычно, виноватить в чем-нибудь студента.

– Я думаю, вы уже догадываетесь, по какому поводу мы с вами встречаемся, – заметил вальяжно майор.

«Жутко вежливый. Как уж тут не догадаться, если вы несколько

месяцев вокруг меня шуршите», – мелькнуло у Дубравина. Но сказать он ничего не сказал. Только кивнул головой.

– Давайте проедем к нам. Там поговорим! – заметил Терлецкий.

– Пожалуйста! – ответил коротко Дубравин. Он старался держаться спокойно, непринужденно, как человек, который не чувствует за собой никаких грехов. И пока ему это удавалось. Ему даже легче стало. Потому что кончилась неопределенность. Да и, честно говоря, не очень нравилось ему тут, в деканате.

«Волга» стояла на месте. Молча они уселись в приятно пахнущий, чистенький салон. И покатали по улицам весеннего города. Снег уже сошел. Трава на газонах зеленела. А вот деревья еще стояли серые, голые. Только кое-где набухли почки. И иногда, совсем редко, можно было увидеть вспыхнувший среди этой серости белым огнем цветением куст алычи. Ехать было недалеко. На тихой улочке, напротив зеленого чистого сквера с группками сосен и скамеечками стоит серое, угрюмое здание республиканского Комитета государственной безопасности. Построено оно в сороковых годах пленными немцами. И вид у него такой, будто немцы все свои эмоции вложили сюда. Сколько раз Дубравин проходил мимо этого официального входа, озираясь на дежурного в мундире с голубыми погонами. Теперь он сам открывает тяжелую дверь. Пропуск ему уже предусмотрительно выписан. Терлецкий молча показывает свои корочки.

И вот они поднимаются по бетонной лестнице, крытой красной дорожкой. И через минуту уже находятся на нужном этаже.

Длинные пустынные коридоры. Деревянные двери в кабинеты с номерами, но без табличек.

«Тишина и покой в этом парке густом», – мелькает в голове дурацкая мысль.

Майор открывает ключом дверь в какой-то кабинет. Впускает его. Усаживает за стол. Дубравин оглядывается. Ничего необычного. Казенный стол с приставленным к нему перпендикулярно еще одним. Кресло. Мягкие стулья у стола и вдоль стен. Часы на стене. Портрет Дзержинского. Синий сейф в углу. Никого.

Терлецкий оставляет его. А сам выходит в коридор. Через пару минут вместе с майором в комнату заходят еще трое в штатском. Двое русских. Один кореец. Первый – молодой русский. Высоченный, ростом под два метра, со шрамом на лице. Второй – маленького роста, хрупкий, но шустрый. Лицо курносое, волосики жиденькие, светлые. Сели вокруг. Судя по всему, готовился перекрестный допрос. Так оно и получилось. Начал Терлецкий. Осведомился о его личности:

– Ваша фамилия?

– Дубравин!

– Имя?

– Александр Алексеевич, – чтобы предварить следующий вопрос, Дубравин назвал сразу с отчеством.

– Год рождения?

– Тысяча девятьсот шестьдесят второй!

– Место рождения?

– Село Жемчужное Северо-Казахстанской области.

Рутин. Рутин. Пока он не привык. И вдруг длинноволосый, смуглолицый кореец вклинивается в допрос. И с ходу, наклоняясь вперед, прямо в лоб спрашивает. А сам смотрит своими узенькими черными щелочками прямо ему в глаза:

– Вы встречались в прошлом году на американской выставке с Дэвидом Кларком?

Дубравин понял. Сейчас они засыпят его вопросами со всех сторон. И будут путать и мотать, пока он что-нибудь не ляпнет. «Надо сбивать темп», – решает про себя.

– С кем?

– С Кларком! – наседает кореец.

– С каким-то американцем встречались. Только фамилию его я не помню. Кларк или Смит. Бог его знает, – уныло и медленно проговорил он.

– Для чего вы встречались с ним? – вступил здоровяк.

– Да ни для чего! Просто увидели знакомую физиономию. И говорю ребятам: вот американец с выставки. Давай подойдем поболтаем. Ему, наверное, скучно. Да и нам тоже.

– Вам на демонстрации, посвященной Октябрьской революции, скучно?! – прицепился к нему кореец. Шурка глянул на него удивленно: а что, он считает, что должно быть весело? Но ничего не сказал. Только пожал плечами.

Он уже освоился, успокоился. Понял, какой тактики надо придерживаться на допросе. Не отрицать того, что им и так уже известно. И одновременно стараться понять, что они знают. Не говорить ничего конкретно. А так. Может быть. Возможно.

А сбоку уже Терлецкий:

– Ну, хорошо! Это была ваша первая встреча. А для чего вы и ваши друзья виделись с ним в кафе?

– Да я подумал, – стараясь выглядеть простаком, отвечал Дубравин, – что если уж мы с ним познакомились, то хотя бы можно взять у него

интервью. Напечатать в местных газетах. Мы же все-таки будущие журналисты. Вот и решили с ним встретиться. Но интервью не получилось.

– А вам кто-то давал задание? Из газетчиков? – насторожился длинный.

– Да нет! Никто не давал. Я сам так подумал.

– Значит, вы сами проявили инициативу?

– Ну да. Но он какой-то замученный был. Все озирался вокруг. А главное – он показался мне каким-то туповатым, что ли. Я даже удивился.

– А вы думали, что все американцы – гении? Вы и на встречу шли с таким мнением? – наседал с другой стороны стола кореец. Видимо, он исполнял в этой четверке роль «злого» следователя.

– Да ничего я не думал! – чувствуя, что тот пытается все вывернуть, ответил раздраженно Дубравин.

– Ну что вы, Валерий Маевич! – как бы заступился за Дубравина майор Терлецкий – судя по всему, «добрый» следователь. – Молодой парень. Ему все интересно.

– Вот именно, вы ничего не думали! – с ожесточением заметил Валерий Маевич, скрипнув зубами и продолжая гнуть свою линию. – Вы не думали, когда знакомились с работником американских спецслужб. С агентом Центрального разведывательного управления. А надо было думать.

– Откуда мне знать, агент он или кто? Он здесь на выставке гидом работал. Если он агент, вы могли бы не пускать его сюда! А нам откуда знать, – пробормотал «ошеломленный» Дубравин. Странное дело, чем дольше шел допрос, тем легче ему становилось. Беспокоил только четвертый. Курносый, голубоглазый, с жидкими белесыми волосами. Он до сих пор не сказал ни слова. Только молча наблюдал.

«Может, его задача такая – наблюдать за реакциями».

– А не передавал ли вам чего-нибудь этот Кларк? Каких-нибудь пакетов, брошюр, книг? – спросил Терлецкий.

– Да ну, какие книги. Так, рассказывал немного о себе. Что, мол, закончится выставка и он поедет путешествовать по миру. Купит новую машину.

Видимо чувствуя, что «добыча» ускользает, «злой» следователь вспылал:

– Что вы нам морочите голову! Вы что думаете, нам делать нечего? Четыре старших офицера Комитета государственной безопасности оставили все дела. Сидят тут с вами, беседуют. А вы нам рассказываете байки.

– Да никаких баек я вам не рассказываю. Говорю правду.

– Какую правду? Вы думаете, мы не знаем про вашу антисоветскую

группу студентов? Про ваши сборища, где вы выступаете, порочите наш строй, наше общество.

– Ничего я не порочу, – Александр почувствовал, как вспотели ладони и сразу стало сухо во рту. Вот оно. Тут-то они могли что-то предъявить.

– Мы всех опросили! Покажите ему протоколы!

«Добрый» следователь майор Терлецкий достал из своей кожаной коричневой папки несколько листочков. На них – напечатанные на машинке выписки из допросов. Без подписей.

Дубравин читал. Но никак не мог сосредоточиться. Все пытался понять. Кто что сказал. В голове только отдельные обрывки фраз.

«...Собирались по вечерам в комнате общежития... Говорил, в городе нет колбасы. Ругал хозяйственников... Неэффективное использование природных ресурсов... Говорил, что при таком отношении к ввозимому оборудованию у нас в СССР никогда не будет технического прогресса. Что мы безнадежно отстаем от развитых стран... Ракеты запускаем, а кефиру выпустить, сколько надо, не можем...»

Дубравин специально минут десять изучал эти выписки, видимо составленные из допросов его однокурсников, преподавателей и каких-то доносов осведомителей.

Он достал носовой платок из кармана, вытер вспотевшие руки. И наконец отодвинул листки от себя на середину стола:

– Может, я это и говорил. Только это везде говорят. Пойдите на любой рынок. Там и покруче высказываются.

А в душе: «Выкусили, голубчики. Ничего вы не накопили. Ни про рассказы. Ни про настоящие мои взгляды на нашу действительность».

– А потом, когда все это было... С тех пор много воды утекло. Каждый человек меняется.

– Да, это правда, – заметил «добрый» следователь. – В последние месяцы вы изменились... к лучшему.

Они еще минут двадцать мусолили эту тему. То пытались неожиданным вопросом расколоть Дубравина. То «сочувствовали» ему по поводу наших недостатков. Но он упрямо гнул свою линию.

В конце концов те трое убралась из кабинета. И он остался один на один с Терлецким.

– Ну что ж, будем оформлять протокол допроса! – вздохнул тот.

– А что, надо что-то писать? – удивился Александр, принимая из рук в руки печатный лист с разлинованными графами.

– А как же! Все требует фиксации на бумаге.

Дубравин удивился:

– И что фиксировать? Наш разговор? Стоит ли ворошить прошлое?

– А что же, по-вашему, нечего писать? А мы, выходит, столько месяцев зря работали?

«Вот оно. Опять, – подумал, похолодев, Дубравин. – Машина работает. Она должна отчитаться. Ей наплевать, что на самом деле происходит. И кто я. Надо отписаться перед начальством о проделанных мероприятиях. И закрыть дело». Спросил сдавленно:

– А со мной-то что? Что я должен?

– Руководство решит. Скорее всего, передадим бумаги в университет. В общественные организации. Они должны будут прореагировать. Если сами не знаете, как писать, давайте я продиктую. «Я, такой-то, такой-то...»

XII

– Заедешь за мной завтра часов в девять! – хлопнув дверцей «Волги», сказал Амантай верному Ерболу и направился к подъезду. «Время позднее, а света в нашей комнате нет. Неужели Альфия до сих пор не пришла? Странно. Вроде у нее сегодня занятий в кружке нет».

Он своим ключом открыл дверь в однокомнатную квартиру, которую они снимали вместе с нею. Все было так, да не так. Сняты белые занавесочки с окон. Широкая кровать, которую он купил по случаю у одного своего друга, не застелена цветным покрывалом. Нет на ней ни белых шелковых простыней, ни одеяла, а сиротливо лежит только полосатый потертый матрас.

Он сначала подумал, что их обокрали. А потом, когда понял, что-то оборвалось в груди. Как потерянный он бродил по квартире, натываясь то и дело на следы разрухи. В ванной на пустой полочке наткнулся на оставленную ею, торопливо написанную, без знаков препинания записочку: «Амантай я думала что вы мужчина а вы еще мальчишка. Прощай. Твоя Альфия».

Как восточная, воспитанная в уважении к мужчине женщина, она не стала оскорблять его достоинство какими-то мелкими разборками. Она просто собрала те вещи, которые считала своими, и съехала куда-то. Но все-таки она была настоящая женщина и поэтому оставила такую записку, которая всегда будет жечь ему душу.

«Да, в этом она вся! – с горечью подумал Амантай. – С одной стороны, такая современная, продвинутая. Презрев всякие предрассудки, стала жить вместе со мной. А с другой... С другой – уж замуж невтерпех. Эх, агай Марат! И что мне теперь с этим делать?»

Пойти против воли родни он не мог. Вот не мог, и все. Ведь они столько сделали для него. А сколько еще могут сделать! Он уже давно усвоил все тонкости родственных и номенклатурных взаимоотношений. И сам уже прекрасно знал те рычаги и пружины, которые двигали людей по карьерной лестнице. И тут осечка. С Альфией. Он заметался. Никак не мог принять какое-то решение. Она, естественно, чувствовала, видела, как он злится, переживает. Долго ждала чего-то. А потом поняла, что не решится он никогда. С этого момента замкнулась в себе. Стала чаще уходить из дома. А вернувшись, едко и зло отвечала на его сакраментальный вопрос: «Где была?»

– Где была, там меня больше нет!

И уходила. Хлопая дверью так, что с дверного косяка осыпалась пыль. Потом они мирились. В постели.

А сегодня ушла. И судя по записке, навсегда. Зная ее характер, Амантай почти не сомневался в этом.

Не раздеваясь, он присел на край широченной и теперь такой осиротевшей кровати. Обхватил голову руками. И неожиданно для себя самого тихонько завыл-запел. Казахский похоронный напев. Напев, который он слышал когда-то давным-давно. В день, когда умерла его бабушка.

– Ой, бай! Горюшко-то-о...

Он просидел так часа три. Потом встал. И пошел в соседний магазин. Купил там бутылку водки, батон хлеба и банку рыжей кабачковой икры. Налил граненый, нечистый стакан до краев. Выпил медленно, как воду, не ощущая даже запаха.

Второй налил до краев. И снова жажнул сразу весь. Но теперь поперхнулся, закашлялся до слез. Постоял, тупо оглядывая комнату. Лег. И... Отрубился мертвым сном.

...Проснулся от того, что луч солнца упрямо светил ему в глаза. Оглядел комнату. Отметил про себя, как в солнечном столбе роятся, клубятся пылинки. Почему-то потянуло на слезы. Было такое ощущение, будто из него вынули душу.

На работу не пошел. Сходил в магазин, купил еще бутылку водки. Выпил.

Так было три дня. Все эти дни думал о ней. Вспоминал неблагодарную, бесчувственную. И ждал. Вдруг скрипнет дверь.

На четвертый встал. Умылся, побрился. Надел свежую рубашку. И, пошатываясь, вышел за порог. «И чего я горюю? Я же свободен! Свободен от всего. Дорога открыта. Не пришлось самому ничего решать. Альфия сама определилась за меня». Он даже почувствовал что-то вроде благодарности к ней. Черные глаза подернулись влагой. На губах заиграла улыбка. Можно идти дальше. Можно идти к дяде.

Только он успел зайти в комитет комсомола, как прибежала толстая, не обхватить, губастая, с круглыми навывкате глазами Бибигуль, секретарша ректора.

– Амантай Турекулович! – тяжело дыша необъятной грудью, проговорила она. – Вас тут ищут с утра. Срочно к самому.

Ноги в руки. И он уже в приемной. На полу зеленый ковер. На стене круглые часы. Черные кожаные диваны. Стол, уставленный безделушками.

Но если раньше Бибигулька его выдерживала в приемной – знай, мол, свое место, – то сейчас сразу же звонит в кабинет. Через секунду он уже шагает от двери по длинной ковровой дорожке к полированному столу. За столом двое. Толстый, могучий Джолдасбеков. Пиджак снят. В одной ослепительно белой рубашке, натянутой на крепком, круглом пузе, начинающемся прямо от груди. С другой стороны черноволосый, сухощавый, гладко, до синевы, выбритый человек в штатском с правильными незапоминающимися чертами славянского лица.

Его приглашают присесть. Все как-то не совсем обычно. Дядя Ураз наливает стакан воды. Выпивает. Представляет штатского:

– Майор Терлецкий Петр Иванович. Наш куратор от Комитета государственной безопасности. Тут у нас дело одно. Неприятное. Надо разобраться...

Майор молча раскрывает свою кожаную коричневую папочку. Подает Амантаю серый листок с напечатанным на машинке текстом с синей печатью внизу. Это постановление следователя.

– Прочтите, пожалуйста!

Казенным протокольным языком в постановлении сообщается, что студенты факультета журналистики Дубравин А.А., Нигматуллин М.А., Шестаков И.П., Рябушкин А.М., Ташкинбаев А.С. создали группу. Установлено, что велись антисоветские разговоры, темами которых были трудное экономическое положение в СССР, проблемы межнациональных отношений... Предложено принять профилактические меры... Передать дело на рассмотрение общественных организаций университета. Подписано следователем КГБ.

Амантай быстро прочитал постановление. Уразумел наконец, что речь идет в первую очередь о судьбе студента третьего курса Александра Дубравина, который, судя по тексту, и был заводилой в этой компании. С соответствующими последствиями для него.

– Ну, и что мы должны делать? – растерянно спросил он, одновременно обращаясь к обоим собеседникам.

– Принять меры! – пожал плечами майор. – И сообщить о них нам.

– Какие меры?

– А это уже вам решать. Как подскажет ваш гражданский долг. С одной стороны, прошу учесть, что Дубравин – это наш советский человек. Может быть, заблуждающийся. Не совсем понимающий свою ответственность. С другой стороны, он не просто студент. Если бы это были студенты мехмата или физического факультета, то с них был бы другой спрос. Впрочем, физики тоже бывают разные, – вздохнул Терлецкий, видимо вспомнив дело

Сахарова. – А ведь они будущие журналисты, должны проводить линию партии. Разъяснять ее программу. Выступать агитаторами, пропагандистами. Так что реагируйте соответствующе.

Он посмотрел на кислую, унылую мину на круглом лице ректора. И, решив, видимо, помочь, добавил:

– Исключать из университета никого не надо. Вызовите их к себе. Поговорите. Устройте комсомольское собрание. По итогам профилактирования мы отправим отчет в ЦК Компартии Казахстана.

Он распрощался. Пожал руки. И, тихо прикрыв дверь, вышел, оставив на полированном блестящем столе серый листок и нетронутую белую фарфоровую пиалу с зеленым чаем.

Ректор помолчал с минуту. Встал. Подошел к окну. Резко развернулся на каблуках. Несмотря на чистую белую рубашку, Амантаю он показался усталым и потрепанным.

– Ну что, комсомольский секретарь... Давай помогай! Собирай собрание. Актив собирай. Группу собирай. Факультет не надо. Нам лишний шум ни к чему.

В эти минуты, пока он говорил, Амантаю, который уже сам прошел немалую карьерную школу, вдруг открылся на секунды весь ход невеселых ректорских мыслей: «А что, если этим случаем воспользуются враги? И напишут куда надо, что у него нет воспитательной работы со студентами. Что среди студентов появились «враги народа». А?».

Собрание начиналось уныло. Сначала народ долго спрашивал у Несвелли, по какому поводу их сгоняют в большую аудиторию. Узнав, что предстоит рассмотреть персональное дело Дубравина, долго удивлялись. И лениво ползли в сторону сто седьмого кабинета. Впрочем, собрались все равно не все. Почти половина студентов увильнула от этого неблагодарного дела. Зато в полном составе явились активисты. Секретарь комитета комсомола факультета Адил Дибраев, секретарь комитета комсомола университета Амантай Турекулов, куратор группы доцент Петр Соткин.

Комсомольские вожди уселись в президиум. Прочий недоумевающий народ расположился как Бог на душу положит. Но все больше жался по углам.

Куратор университета от КГБ майор Терлецкий притаился среди

рассевшихся студентов.

У Амантая сложный день. Но он старается скрыть свои эмоции под маской важности и напыщенности. Его задача, как говорится, и капитал приобрести, и невинность соблюсти. Проще говоря, с ректором они уже согласовали свою линию. И приняли решение. Антисоветчиков осудить. Дубравина исключить из комсомола. И тем самым показать, что у них в университете воспитательная работа на высоте. Но что-то внутри у Амантая как-то еще не уложилось. Не устаканилось. Александр Дубравин, сидящий сейчас в уголке у окошка, ведь вовсе ему не чужой человек. Так что, усевшись в импровизированном президиуме, Амантай поставил рядом со столом свой кожаный черный портфель и стал нервно постукивать холеными пальцами по испещренной многочисленными надписями крышке выдавшего вида стола. Хорошо, что хоть не ему самому придется вести это неприятное собрание – удалось спихнуть на Дибраева. Амантай долго молча смотрел сбоку на него, на то, как он нервно перебирает в папке какие-то листки бумаги, и с неприязнью думал: «Тоже мне, партийный деятель. Не мог как следует подготовиться. Теперь копается на виду у аудитории». Но сказал другое:

– Давай не тяни. Начинай!

Круглолицый, начавший уже полнеть Дибраев энергично постучал по столу карандашом. Строго оглядел аудиторию из-под больших квадратных очков. И произнес в зал:

– Сегодня у нас внеочередное комсомольское собрание вашей группы. По... э-э... не очень хорошему поводу. – И хотя Амантай предупредил его о том, что надо постараться не упоминать о роли КГБ во всей этой истории, тот все-таки ляпнул: – К нам поступило официальное письмо из республиканской госбезопасности по поводу одного из наших студентов. В нем говорится, что в вашей группе сложилась нездоровая обстановка. Студент Александр Дубравин занял неправильную жизненную позицию. Когда у него в комнате собирались другие студенты, он нехорошо говорил о нашей партии и государстве. Поэтому мы должны обсудить его поведение на общественности. И принять соответствующее решение.

В аудитории раздался недоумевающий шум. Все поглядывали на Дубравина, задавали вопросы друг другу. Кое-кто из ребят слышал, что некоторых студентов вызывали в комитет. Но дело это не афишировалось, и основная масса ни сном ни духом об этом не ведала.

Сам Александр, которого, честно говоря, давно уже достала вся эта история, сейчас хотел только одного. Чтобы все кончилось. Как угодно. Только быстрее. Это собрание группы казалось ему несусветной

глупостью. Всех собрали сюда, как баранов. Чтобы они исполнили некую ритуальную миссию. Осудили его.

«Скорей бы, – думал он. – И поехать домой. Там беда так беда. Галка не пишет. И не пишет уже давно». Она, правда, и раньше делала такое, особенно когда он служил. Но сейчас это было другое. И ему было страшно.

После выступления комсомольского вожака настала пауза. Молчание длилось минуты две. И он понял, что собрание зашло в тупик. Поэтому встал и предложил:

– Давайте я сам объясню.

Народ ответил возгласами:

– Пускай!

– Давай! Давай!

– А то мы никак не въедем, в чем тут дело.

Он быстро вышел к столу президиума. Глянул на склонившего голову вниз и как бы внимательно разглядывавшего надписи на столе Амантая. Постоял минуту. Чувствуя, как влажнеют ладони и по спине пробегает нервический холодок, хрипло сказал:

– Как говорится, из песни слов не выкинешь. Все так и было. Признаю. Ругал я советскую власть. Говорил, что страна победившего социализма не может обеспечить народу простых вещей. Колбасы наварить. Мяса нарастить. Ширпотреба произвести. Критиковал наш строй и партию. Может, иногда излишне горячо. Но вот спасибо, – с искренностью в голосе отметил он, – старшие товарищи из комитета поправили меня. На многие вещи открыли глаза, – и он кивнул в сторону скромно сидевшего за одним из столов куратора майора Терлецкого. На что тот недовольно поморщился. Ясное дело, ему не очень нужно светиться. А тут факультетский секретарь брякнул об их роли, теперь Дубравин добавил.

– Кто хочет выступить по этому вопросу? – обратился к аудитории Дибраев, протирая запотевшие очки.

Опять минутная заминка. Наконец поднялся Женишпек Турсунбаев. Вечно взлохмаченный и возбужденный, смуглый казахский студент-поэт, чем-то похожий на Пушкина. Начал выступать с места:

– Я Александра Дубравина знаю хорошо. Он один из лучших наших студентов. Пишет статьи. И здорово пишет. Талантливый человек. И самое главное – у него на все есть своя особая точка зрения. Я считаю, что он многое может сделать в журналистике.

И, упрямо тряхнув кудрями, Женишпек добавил:

– Исключать его из университета нельзя...

– Кто еще?

Вышел второй оратор. Илюшка Шестаков. И тоже давай защищать Дубравина.

В конце концов в процесс вынужден был вмешаться куратор группы Петр Соткин.

– Да никто не ведет речь о его исключении. Вы должны высказать свое отношение к его неправильным высказываниям. А получается, что вы его защищаете. Садись, Шестаков. – Оглядел притихшую аудиторию: – Кто еще хочет выступить?

Подняла руку староста группы Несвелля Шакурова. Она-то понимала, что требуется от группы. И попыталась спасти положение. И Дубравина. Ведь если здесь не осудят, то его потащат на бюро или еще куда-нибудь. Тоненькая, в зеленых брючках (она всегда ходила в брюках), смуглолицая Несвелля предложила коротко:

– Надо срочно указать Дубравину на его неправильное поведение. И объявить ему строгий выговор с занесением в учетную карточку. Думаю, за это все проголосуют?

Народ загудел:

– Правильно!

Амантай сидел за столом президиума. Молча разглядывал дурацкие надписи, вырезанные на столе студентами. «Зина + Коля = любовь», «Здесь были Маца и Пеца», «О, дайте, дайте мне свободу».

«Дал бы я тебе, если бы застал за порчей имущества, – думал он. – Не подготовили собрание. Все провалили». Он мысленно ругал и Дибраева с его дурацкими речами. И Дубравина, шайтан бы его побрал, с его высказываниями. И кагэбэшников, которые надули все это дело, не стоящее выеденного яйца. Он ощущал явное сопротивление аудитории, ее неодобрительное отношение к ним, к администрации и ко всему этому фарсу.

Не сумеют они добиться нужного эффекта. И завтра кто-нибудь наступит в вышестоящие органы, что он не проявил принципиальности и настойчивости. Видно, придется ему самому подниматься и выступать. Что он и сделал:

– Как вы не понимаете, товарищ Дубравин, что невозможно даже сравнивать наши проблемы с западными. Я вот был в Мексике. Видел там нищих. Люди живут под мостами. В трущобах. А вы ругаете советскую власть, которая нам все дала. И жилье, и образование, и будущее. Я считаю, что такое предложение о выговоре неправильное. У комитета комсомола есть другое. Исключить Александра Дубравина из

комсомольской организации. Чтобы он почувствовал на себе, что значит оказаться вне коллектива.

Дубравин сидел, слушал гладкую, правильную, идеологически выдержанную речь Турекулова и думал, стараясь не обижаться: «Ему так положено выступать. Он же секретарь. Должность обязывает!». Но иногда прорывалось и другое: «Спасибо, друг. Уважил!». На душе было гадко.

В конечном итоге оба предложения поставили на голосование. И – о чудо! Ему вынесли выговор. Предложение вышестоящего комсомольского комитета в группе не прошло.

Впрочем, Амантай не особенно огорчился. Главное, что он отметил своей непримиримой, твердой позицией. Это видели все. Так что, докладывая ректору о результатах профилактики, он мог с чистой совестью сказать: «Я настаивал, но факультетский секретарь, да и сам куратор от КГБ проявили непонятную мягкотелость».

Странное дело, оказывается, Александр Дубравин плохо знал своих однокурсников. Оказывается, они имели собственное мнение и умели его отстаивать.

Выросло новое, непуганое поколение.